

Б И Б Л И О Т Е К А

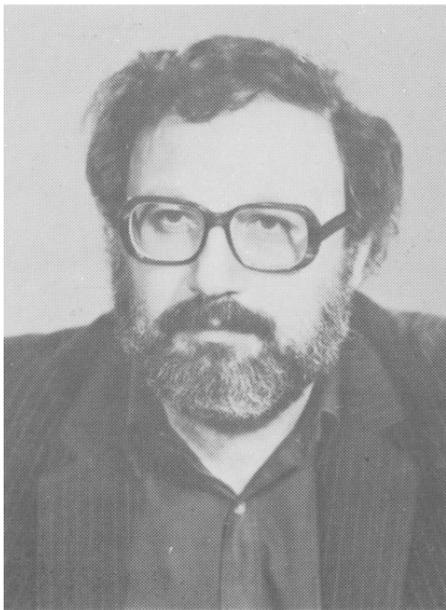
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 47

1988



Рустам ИБРАГИМБЕКОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ДАЧА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 47

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ

ДАЧА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ

Рустам Ибрагимбеков родился в 1939 году в Баку, в 1962 году окончил индустриальный институт, став инженером-электро-механиком. Занимался научной деятельностью в области автоматического управления и регулирования.

В 1962 году был опубликован первый рассказ Р. Ибрагимбекова, еще через пять лет он окончил Высшие сценарные курсы и полностью посвятил себя литературе. Автор многих пьес, повестей, рассказов. По сценариям Р. Ибрагимбекова сняты фильмы «Белое солнце пустыни», «В этом южном городе», «И тогда я сказал «нет», «Допрос», «Храни меня, мой талисман», «Филер» и многие другие.

Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Произведения писателя переводились на многие языки народов мира

ПРОСНУВШИЕСЬ С УЛЫБКОЙ

Конечно, сестра могла что-то и преувеличить, и не все рассказать, женщина есть женщина. Но если даже она и виновата больше, чем считает, у нее есть муж и родной брат, и это им решать, как ее наказать, раз уж возникла необходимость. А тот, кто не понимает таких простых вещей или, получив на прокорм чуть больше овса, чем полагается, позволил себе поднять руку на женщину, — тот за это пострадает. Обязательно пострадает, какие бы должности ни занимал.

Продолжая нарезать в тазик арбузные корки, Алик пододвинул его ногой поближе к барашку, привязанному к кровати. Колокольчик на тоненьком кожаном ошейнике тихонько звякнул, задрезжали три никелированных шарика на спинке кровати. Раньше их было много (по два больших на каждой спинке и по восемь маленьких), но они легко отвинчивались и постепенно понемногу куда-то подевались — в детстве Алик и сестра любили ими играть.

Барашек одобрительно покосился, когда Алик подбросил в тазик несколько кусков арбузной мякоти из своей тарелки, и сразу же забыл о корках. Алик улыбнулся — как только в сорок пятом или сорок шестом (точно он сейчас не помнил, почти восемь лет уже прошло) в магазинах появился белый хлеб, за ним сразу же выстроились длинные очереди. А еще недавно люди ночи выстаивали за черным, которого стало полно. Месяца не прошло, а народ без белого хлеба уже обойтись не мог.

Алик погладил барашка и пошел за перегородку мыть руки. Долил в умывальник воды из ведра, остаток плеснул на сапоги: во двор проводили газ, и к ним прилипла глина. Газ тянули откуда-то издалека, и с жильцов собирали деньги, но Алика из списков исключили из-за противопожарных норм — то ли жилплощади неоставало, то ли дерева в квартире слишком много. В коридоре стена, смотревшая во двор, сплошь деревянная, а перегородка, отделявшая умывальник и кухонный стол от прохода в комнату, из фанеры. Зато пол по обе стороны перегородки не горючий, а асфальтовый, но это инженер и уса́тый пожарник в расчет не принимали...

Осложнения с газом Алика не очень огорчали, нормы нормами, а такого, чтобы он остался без газа, когда всем проводят, быть не может. И действительно, пару дней назад ребята-газовики, начавшие рыть во дворе траншею для стояка, обещали поставить ему плиту без разрешения инженера и пожарника, при условии если он снесет фанерную перегородку. Он, конечно, согласился, перегородка в общем-то ему и не нужна, мать ее поставила, когда сестра еще жила с ними, а сейчас перегородка даже мешает — из-за кровати, на которой спит мать, когда приходит домой, проход в комнату получается слишком узким...

Помыв руки, Алик переоделся и вышел во двор. Газовики завалили его трубами, в беседке под виноградником стоял их набитый инструментами длинный рабочий стол. По этой причине все соседи сидели в квартирах. Обычно в такой безветренный сентябрьский вечер двор полон людьми, а сейчас даже в окнах никого не видно. Только старая Ханмана, как всегда по субботам, месила тесто под балконом второго этажа; тендир в углу двора, между лестницей и беседкой, дымился, еще когда Алик пришел с работы.

Ханмана слепила тендир года два назад, сразу же как переселилась к ним во двор из Билья. А через месяц, когда глина просохла окончательно и звенела от щелчка, как металл, соседи ахнули: старуха разожгла огонь, выждала нужное время, шлепнула первую лепешку к раскаленной стенке тендира и через несколько минут вынула из пышущей жаром дыры желто-румяный с чуть обгоревшими краями чурек. Ведь никто из них не видел, как делается хлеб, куповали всю жизнь в магазине.

Но еще больше поразила Ханмана, когда Алик раскатал тесто и нырнул с головой в жерло тендира, чтобы прилепить лепешку к стенке. Старуха глазам поверить не могла, увидев его лепешку рядом со своими. Соседи тоже сперва удивились, но потом вспомнили, что он когда-то учился в школе пекарей при хлебозаводе. В сорок четвертом, после седьмого класса. У сестры тогда родился ребенок, муж ее Надир продолжал воевать, похоронку на отца уже получили, и надо было как-то помочь семье. А тут товарищ отца (он, как и отец, до войны водил хлебовоз, а с фронта очень быстро вернулся без ноги) предложил устроить его в эту школу пекарей, где сам уже год работал слесарем: питание, стипендия обеспечены, а после окончания можно, кроме зарплаты, иметь полбуханки чернышки в день. Из-за этой-то полбуханки и не получилось из Алика пекаря — надо было научиться выносить ее с территории незаметно для охраны; все выносили, а он даже ради маленького племянника не смог себя заставить. Пришлось окончить автошколу.

...Ханмана месила тесто на большом медном подносе с зубчатыми краями, рядом на скамеечке лежало самодельное сито, старуха была мастер на все руки: сама чинила себе обувь, сколачивала сундуки и табуретки и постепенно расширяла свой подвал за счет пустот в фундаменте до-

ма, за два года передвинула стенку метров на десять, целая комната прибавилась.

Алик подошел ближе, посмотрел на тесто и шутливо поморщился.

— Чем недоволен? — нахмурилась старуха.

— Соли мало.

Ханмана, хоть и была лет на пятьдесят старше, на шутки Алика не обижалась и не упускала случая ответить тем же.

— Жену будешь учить, когда женишься... Скажи-ка лучше, как барашек?

— Живет твоими молитвами...

— Отощал небось...

— Отощает, если ты его не кормишь.

— Почему это я должна твоего барана кормить?

— Ты его привезла, ты и корми.

— Я же не знала, что ты с ним дружить начнешь. Гостей много было?

— Да.

— Что же ты так рано вернулся?

— А ты видела?

— Я все вижу.

— Не спится? Вот подберу тебе хорошего мужа, из сторожей, как шестнадцатилетняя девушка будешь спать.

— Ты все обещаешь.

— Есть один подходящий, с николаевских времен жениться хочет, но очень уж свистеть любит. Чуть что — за свисток хватается.

Старуха рассмеялась и поправила волосы; ей показалось, что они выбились из-под выцветшего шелкового платка, концы которого были завязаны в тугий узелок и торчали вверх, как ушки.

С барашком действительно смешная история получилась. По его просьбе Ханмана привезла барашка из Бильги еще в начале августа по случаю предполагаемого обрезания племянника. Уже несколько лет сестра никак не могла решиться на то, что давно проделала со всеми соседскими мальчишками, а тут очень удачно все сложилось: ее муж Надир уехал в командировку — и Алик решил сделать еще одну попытку. Сестра опять испуганно замахала руками, потом постаралась оттянуть окончательное решение до возвращения мужа, но все же в конце концов сдалась, когда он объяснил, что после операции мальчику придется посидеть дома неделю-другую, а лето уже на исходе; что же касается Надира, тому совершенно все равно, обрезан его сын или нет, поэтому даже хорошо, что он в отъезде, будет избавлен от лишних хлопот.

Привезли из Бильги барашка, но лезгин, зарабатывающий на жизнь обрезанием и регулярно обходивший дворы с предложением своих услуг, в конце лета вдруг куда-то исчез, и, пока ждали его появления, мальчик очень привязался к барашку. Да Алик и сам привык к животному. И поэтому, когда лезгин все же появился, шашлык для гостей, приглашенных по случаю семейного торжества, сделали из мяса, которое

Алик срочно достал у знакомого мясника. Мясо было свежее, жирное и, судя по ребрам барана, молодое, но Алик напомнил мяснику о том, что такое же хорошее на вид мясо, купленное здесь же месяца два назад, оказалось почему-то совсем безвкусным, неароматным. Мясник переглянулся с щуплым четырнадцатилетним племянником, помогавшим разделять висящую в дверях тушу, и не без ехидства в голосе поинтересовался у Алика, а каким, по его мнению, может быть вкус у барана, который живет в квартире с электрическим освещением, ест белый хлеб и вместе с его, мясника, семьей слушает радио и смотрит телевизор?

Шашлык, к счастью, получился вкусным, племянник почти не плакал, когда рыжеволосый лезгин легонько оттянул розоватую мякоть и отсек ее край узенькой, сточенной полоской опасной бритвы. Гостей было довольно много, в основном родственники и соседи, поэтому и подарков у изголовья кровати, на которой лежал бледный, испуганный, но счастливый оттого, что с достоинством прошел суровое испытание, племянник, тоже было немало...

Алик вышел на улицу. Разговор с Хаманой ему не понравился, случилось то, чего он опасался: глупое и оскорбительное по отношению к нему поведение Надира, все же успевшего приехать в день обрезания и поднять шум, стало известно соседям по двору, иначе Ханмана не спросила бы, почему он в тот вечер вернулся домой так рано, когда празднество у сестры еще было в полном разгаре.

Конечно, НаDIR имел причину недолюбливать его: трудно, наверное, забыть о том, как шестнадцатилетний мальчишка чуть не заколол тебя кухонным ножом в твоей же подворотне. Все остальное: и фотографии в обнимку с какими-то венгерками, польками или чешками, кто их там разберет, и наглые пьяные рассказы в присутствии сестры о веселой европейской жизни, и большегрудая любовница Тося, живущая во дворе почты, и многое другое, из-за чего сестра чуть не осталась одна с ребенком на руках, — все это, естественно, забылось, а ненависть за унижение и страх осталась навсегда. А чем еще можно объяснить отношение к нему Надира все последующие годы?

Прижатый к стенке между мусорными ящиками и водяным счетчиком недавний освободитель Европы и не подумал оказать сопротивление, военный опыт сразу подсказал единственно верное решение, и он, не колеблясь, дал слово навсегда стать примерным мужем и заботливым отцом. Иначе остался бы лежать продырявленный в темной подворотне — другого выхода у Алика не было, как, впрочем, и желания причинять кому бы то ни было вред, а уж мужу сестры тем более...

Мусорные ящики у ворот полили какой-то темной вонючей жидкостью, отогнавшей всех дворовых кошек на второй этаж; на узком, опоясывающем двор балконе две соседки взбивали свалывшуюся за зиму матрасную шерсть, и пришлось подождать, когда они перестанут махать длинными гибкими палками...

Племянник уже несколько дней передвигался по квартире в красной набедренной повязке, то и дело осторожно оттягивая ее левой рукой, чтобы не касалась не зажившей еще раны. Надира в это время дома быть не могло, но, услышав в темноте чьи-то голоса, Алик все же насторожился: никакого желания встретиться с мужем сестры и его друзьями он не имел. Уже проходя в кухню, где проводила большую часть дня сестра, Алик прислушался к разговору в комнате и понял, что гостей принимает племянник.

Сестры в кухне не было, хотя на шумно горящем примусе в большой медной кастрюле что-то кипело.

— Кто это? — крикнул из комнаты племянник.

Он и четыре его закадычных друга, прошедшие суровое мужское испытание несколькими годами раньше, разглядывали что-то в альбоме, подозрительно похожем на тот, в котором Надир хранил фотографии фронтовых подруг.

Но, подсев к столу, Алик успокоился: в альбоме лежали конфетные обертки, большей частью им самим племяннику и подаренные (и среди них две редких — с портретами знаменитых американских киноартистов Мери Пикфорд и Дугласа Фербенкса).

Племянник, родившийся, как утверждала сестра, в сорочке, в свои тринадцать лет уже давно считался очень везучим человеком и вполне справедливо имел кличку Счастличик. С точки зрения друзей, больше всего ему повезло с дядей, то есть с ним, Аликом, и при любой возможности они старались проявить к нему уважительное отношение; вот и сейчас, увидев его, все разом поднялись со стульев (кроме племянника, конечно, у него всегда и на все было оправдание, на этот раз — недавно перенесенная операция).

— Сидите, сидите. — Алик опустился на стул, пододвинутый самым близким другом племянника (настолько близким, что так его и называли — Друг), и с удовольствием оглядел ребят. Достойная подрастала смена. Ничем не хуже родителей. А может, и лучше.

Алик знал их хорошо, с давних пор, когда ему было столько же, сколько им сейчас, лет двенадцать — тринадцать, а им, брошенным на него работающими дотемна матерями, по три-четыре года. Тринадцатилетний мальчишка тогда должен был уметь сам заработать себе на хлеб, поэтому, рассказывая племяннику и его друзьям сказки, смутно запомнившиеся с детства, приходилось вязать женские чулки из ниток, которые мать приносила с фабрики; днем, когда он возвращался из школы, крючки были свободны, и грех было ими не воспользоваться.

Больше других ребят ему нравился Марат, мать которого ночи напролет стучала по старинной пишущей машинке. Друг тоже ему нравился, преданностью друзьям. Даже сегодня, после всего, что произошло между матерью племянника и его родителями, он все равно здесь... Интересно, знает Фариз, где его сын?

Племянник и его друзья почтительно выжидали, когда Алик первый начнет разговор. Он понимал это, но не знал, с чего начать; спрашивать племянника о самочувствии не имело никакого смысла, по лицу видно, что легкое кровоусушение пошло ему только на пользу. Задавать же шаблонные вопросы про то, как идут дела или течет жизнь, не хотелось. Можно, конечно, поинтересоваться тем, что происходит у них в драмкружке при Доме печати, но как раз этот единственный по-настоящему интересующий его вопрос задать было трудно. Ребята, правда, ни о чем не гадавались: даже Джон Агаев о том, что произошло, знал только отчасти; вряд ли Майя рассказала ему подробности, но все равно язык не поворачивался...

И все же необходимо было что-то сказать:

— Где мама?

— У Александры Сергеевны.

Сестра каждую свободную минуту бегала к одинокой пожилой соседке с первого этажа, работавшей на фабрике кукол.

— А мы пьесу «Снежок» начинаем ставить,— сообщил Друг.

Об этой пьесе про негритянского мальчика много говорили еще зимой, когда, поддавшись уговорам племянника и его друзей, Алик несколько месяцев ходил в драматический кружок при Доме печати. Теперь он знал, что те зимние месяцы были самыми лучшими в его жизни. А тогда казалось наоборот. Репетировали пьесу Сергея Михалкова «Особое задание». Актёров на взрослые роли не хватало, поэтому руководитель кружка товарищ Эмиль, невысокий, смуглолицый горский еврей, согласился, чтобы Алик сыграл капитана Горкушу. Такая фамилия была у одного из офицеров: второго, по фамилии Стрельцов, играл Джон Агаев, студент индустриального института. Алик помнил его по школе, из которой ушел после седьмого класса. Уже в те годы этот Джон подавал большие надежды и на школьных вечерах (Алика таскали на них бывшие одноклассники) с постоянным успехом исполнял на трофейном итальянском аккордеоне арию «Без женщин жить нельзя на свете» из оперетты «Сильва». В кружке он имел большой вес, товарищ Эмиль, ссылаясь на его загруженность в институте и старые заслуги перед кружком, разрешал ему пропускать репетиции. Джон доказал, что действительно имеет право на такое доверие: то, на что у Алика ушло больше трех месяцев (труднее всего давался ему текст), Джон, одетый в темно-синий и, как объяснили девочки из кружка, бостонский пиджак, осилил за пару репетиций.

Напрягаясь из-за того, чтобы не дай бог не напутать что-нибудь и ляпнуть не те слова, Алик каждый раз забывал указания, которые на всех репетициях вдалбливал в него товарищ Эмиль. Особенно трудно было в сцене, где требовалось пригласить на вальс Майю (по роли ее звали Верой), — он так терялся в этом месте, что не только не мог улыбнуться, как требовал товарищ Эмиль, уверенно и снисходительно, но, наоборот, краснел, запинаясь и начинал танец не с той ноги. На лбу

у товарища Эмиля вздувалась толстая, как макарона, жила, обычно добрые глаза зло выпучивались, густые, похожие на кривые турецкие сабли брови сходились на переносице, он начинал шумно сопеть и колотил кулаком правой руки по растопыренной левой ладони. Потом, правда, он извинялся, но в эти минуты сдержаться никак не мог, и казалось, что его вот-вот хватит удар.

С появлением на репетициях Джона все пошло как-то легче и веселей. Он быстро успокаивал товарища Эмиля, а Алику, отведя в сторону, внушал, чтобы он ни в коем случае не обижался, потому что актерских способностей у него, Алика, хоть отбавляй, все у него, как говорится, в полном порядке, ну, а придирки нервного Эмиля настолько несправедливы, что обращать на них внимание просто глупо. Алик хорошо понимал, что Джон врет, но слова его все же действовали успокаивающе. Особенно стыдно было из-за того, что Эмиль кричал на него в присутствии племянника и его друзей. Но в любом случае Алик никогда бы не бросил кружок, если бы не произошла та страшная, затеянная Джоном история. Именно страшная, другого слова тут не подберешь...

Так и не спросив ничего про кружок, то есть про то, что с двадцатого февраля по сегодняшний день волновало его больше всего на свете, Алик поднялся со стула и, позвав за собой племянника, вышел в коридор.

Сообразительный Счастливчик сразу же без всяких вопросов начал рассказывать о том, что произошло в это утро с сестрой. Ее действительно сильно толкнул отец Друга, Фариз, толкнул так, что она упала на перила и ободрала себе весь бок. А он сел в свой «виллис» и уехал в Дивичи, где, судя по машине и серому френчу с накладными карманами, занимал не самую маленькую должность.

Младший сын Фариза, пятилетний Изик опять пописал во двор с балкона второго этажа. И сестра шлепнула его за это по мягкому месту. Не раз уже и самому Изику, не такой он и маленький, чтобы не понять, и его матери Халиде объясняли, что писать людям на голову нехорошо, но та только смеялась в ответ, а сыну даже замечания не сделала. И тогда ребята с согласия Друга решили сами его наказать — поймали во дворе и хотели обписать с ног до головы, чтобы понять, как это неприятно, — но тут вмешалась сестра и, спасая малыша, легонько шлепнула его по мягкому месту. Он разревелся, тут же выскочил из дома Фариз и, ничего не выясняя, применил силу... Что будет теперь, никто не знает; сестра весь день плачет, Фариз уехал в Дивичи, а муж сестры со вчерашнего дня на дежурстве в госпитале и вернется поздно вечером...

Алик успокоил племянника, объяснил, что сосед совершил ошибку, — никто не имеет права поднимать руку на женщину. А за ошибки люди должны отвечать, какие бы должности ни занимали. Болтовня же соседей о том, что никто этому Фаризу ничего сделать не сможет, — глупость, нет таких людей, которым бы несправедливость сходила с рук

безнаказанно. Надо только дожидаться возвращения с дежурства отца, тоже, кстати, человека не маленького, прошедшего всю войну, где и не таким, как Фариз, вправляли мозги...

Объяснение вполне устроило племянника, он даже повеселел, а Алик, погладив его по кудрявой голове, вышел во двор.

Дверь Фариза, несмотря на жару, была прикрыта; ни любителя поливать людей, живущих этажом ниже, из собственного краника, ни его родителей видно не было. Мелкие частицы шерсти, взлета в воздух, полблескивали в лучах заходящего солнца. Соседки на минуту перестали махать палками, с откровенным интересом вглядываясь в Алика.

Спустившись по крутой лестнице в темную парадную и выйдя из нее на улицу, он бросил взгляд направо: там на углу, под акацией, как обычно в это время дня, уже собрались несколько человек. Поэтому Алик повернул налево и пошел по крутой улице вверх. Несомненно, все уже знали про нападение Фариза на сестру, и избежать разговора об этом не удалось бы. Дойдя до конца квартала, Алик свернул за угол, потом еще раз и по параллельной улице пошел в обратную сторону, к центру города...

На больших круглых часах у Нового сквера было уже без пятнадцати семь, когда он занял свою обычную позицию у продуктового магазина — тут среди людей, спящих взад-вперед, его заметить было трудно, — и приступил к наблюдению. Примерно через десять минут Майя должна была выйти из подъезда. Без пяти семь она появилась на верхней ступени коротенькой лестницы и посмотрела в сторону магазина. И если бы он не был уверен в обратном, можно было подумать, что она его видит. Он невольно отвел глаза и отступил на шаг.

Сойдя на тротуар, Майя, чуть покачивая довольно широкими плечами, пошла в сторону Дома печати. Выждав немного, он двинул следом, держась не очень далеко, чтобы не потерять ее из виду.

У водяного киоска она выпила стакан воды, опять оглянулась в его сторону, так ему, во всяком случае, показалось, и пошла дальше. Через квартал она остановилась на минутку у витрины ювелира. Что ее там могло заинтересовать? Вот бы подойти и спросить, улыбаясь при этом так, как учил на репетициях товарищ Эмиль. А почему бы и нет? Лет на пять он все же ее старше, а это не так уж и мало, если учесть, что ей только восемнадцать. А деньги он достал бы. Хоть из-под земли.

Она пошла быстрее, и он тоже прибавил шагу. Лучше, конечно, если бы вдруг возникла необходимость от кого-то ее защитить. Тут уж не надо было бы улыбаться и задавать вопросы, сразу бы стало ясно, что он за человек и как к ней относится. И может быть, прошел бы наконец стыд, из-за которого он не решается заговорить с ней. Все другие делают это запросто, и знакомые и не знакомые, сам не раз видел. А Джон Агаев так тот сразу же обниматься полез, в первый же вечер, как познакомился. И она не оттолкнула. Правда, предлог нашелся удачный. И не

придерешься. Вроде из-за к нему же, Алику, хорошего отношения. Понять их тоже можно было: и пульс у него пропал, и дыхание исчезло, и грохнулся на паркетный пол, как труп, закотив глаза. Сам виноват: надо было сесть, как обычно, на свое место в конце зала, первый раз, что ли, кричал на него товарищ Эмиль? Но тут подскочил этот самый недавно появившийся на репетициях Джон Агаев, отвел в сторону и начал плести про какие-то природные способности, якобы зажатые от сильного напряжения, которое нервный товарищ Эмиль своими криками только усиливает. И вдруг все прервалось — провал какой-то получился, темнота и молчание. Ему показалось, что и секунды не прошло, как умолк Джон, а на самом деле, грохнувшись на пол, он пролежал без сознания не меньше пяти минут; Джон подумал, что он что-то увидел под ногами и наклоняется, чтобы поднять, а он вдруг с громким стуком ударился головой о паркет. Это все ему потом рассказали, а в тот момент, открыв глаза, он ничего не соображал. И никак не мог понять, почему лежит на полу недалеко от сцены и все столпились вокруг, а товарищ Эмиль держит его за руку и быстро-быстро шевелит трясущимися губами.

Потом столпившиеся вокруг люди запыргали от радости, а Джон Агаев бросился обнимать Майю. Он отчетливо это видел, показаться такое не могло...

Остановившись у крайней колонны, он проводил взглядом крепкую широкоплечую фигуру Майи до стеклянных вращающихся дверей Дома печати. Опять он обратил внимание на то, как покачиваются ее плечи. Ничего другого он увидеть не мог, потому что ниже спины его взгляд никогда не опускался.

Теперь он был свободен до девяти часов. Репетиция меньше двух часов не продолжалась, это он знал по собственному опыту. От воспоминаний о прекрасных зимних вечерах в прохладном, пахнущем мастикой зале Дома печати зануло сердце — как он мог не ценить тогда возможность впервые за всю его жизнь посидеть рядом с умными людьми?! Один товарищ Эмиль чего стоил! Специально ходили в клуб моряков, чтобы посмотреть, как он в фильме «Насреддин в Бухаре», замотанный в чалму, скачет верхом на ишаке — лицо на весь экран! А как интересно они репетировали! стыдно было из-за криков Эмиля, но интересно. А как он Майю на вальс пригласал — все холодело внутри, как при прыжке с верхней площадки парашютной вышки! Никогда больше такое не повторится! Эх, Джон, Джон, испортил все! Все испортил! Но он тоже хорош — как можно было согласиться?! Болван.

Обругав себя, Алик, не разбегаясь, с места вспрыгнул на подножку трамвая, который шел мимо, отчаянно звоня, чтобы согнать с рельсов двух пожилых колхозников, тащивших с крытого рынка какие-то мешки.

Как он мог послушаться Джона?

На подножке приятно дул в лицо встречный ветер, но Алик все же заставил себя войти в вагон. Свободных мест не было, и, ухватившись за

отполированный до блеска поручень, Алик еще раз обругал себя за то, что принял тогда предложение Джона: «Это типичная клиническая смерть, ты вернулся с того света, надо это отметить!» Вот и отметили. Лучше бы он умер в тот вечер!

Джон устраивал все несколько дней. Сперва договорился с девочками, потом с каким-то своим товарищем; тот после смерти матери жил у дяди и имел у Черногородского моста квартиру, в которой уже несколько лет никто не жил.

Поначалу казалось, что все это болтовня, разговоры, никак не верилось, что девочки (особенно молчаливая десятиклассница Валя Гурьянова) согласятся на вечеринку с его, Алика, участием. Но Джон в успехе не сомневался.

Когда они, закупив вина и закуску, ждали девочек у аптеки на Телефонной, он деловито поинтересовался, кого из них Алик предпочитает.

— Сегодня твой день, — сказал он так, будто обе девочки давно ему принадлежат, — выбирай любую.

— Там разберемся. — Алик попытался прервать разговор.

— Нет уж, — запротестовал Джон. — Тут путаницы не должно быть. Мне лично все равно, но я за ясность. Кто тебе больше нравится?

Пришлось признаться.

— Отлично, — повеселел Джон. — Выбор правильный. Майя — верняк!

Стоило бы, конечно, выяснить, что он имел в виду под словом «верняк», но тут из троллейбуса вышли девочки, очень непохожие, — сперва высокая, строгая, длинноволосая Валя, а потом крепкая, постоянно улыбающаяся и коротко остриженная Майя — обе нарядные, чистенькие и какие-то торжественные.

— Молодцы, — одобрил их Джон и улыбнулся точно так, как ни разу за зиму не получилось у Алика (несмотря на все старания товарища Эмиля). — Отлично выглядите. А главное, не опоздали...

В холодной, давно не топленной квартире, дверь которой они долго не могли открыть, Джон проворно разложил на столе вино, колбасу и хлеб и дал команду не снимать пальто.

— Пока не согреемся, — сказал он с хитрой улыбкой.

В комнате, кроме стола, были еще шкаф, диван и тумбочка с патефоном. Стульев вокруг стола было достаточно, но Джон почему-то предложил подтащить его поближе к дивану. Пришлось подтащить; если бы не Алик, Джону помогли бы девочки — так послушно и одновременно они бросились к столу.

— Валечка, ко мне поближе, — командовал Джон и хлопнул ладонью по дивану рядом с собой. Словно собачку подозвал. Но строгая Валя

Гурьянова не обиделась и послушно заняла указанное ей место. Майя и Алик сели на стульях.

— Холодновато здесь, — сказала Майя.

Алик согласился.

Джон разлил вино, и они выпили из рюмок, найденных в шкафу.

— Хорошая квартира, — сказала Майя, разглядывая комнату. — Это столовая, а там, наверное, спальня.

— Правильный ход мыслей, Майечка, — улыбнулся Джон. — Одобряю. А почему бы вам с Аликом не осмотреть спальню?

Майя пожала плечами и покосилась на Алика, он опустил глаза. Кто бы мог предположить, что этот Джон окажется таким нахалом!

— Ну, давайте выпьем на посошок, — поднял рюмку Джон, — и прощаемся. Не забудьте взять с собой туда вина, веселей будет.

Если бы кто-нибудь из девочек дал сейчас этому нахалу по морде, было бы неудивительно. Но они даже замечания ему не сделали; к вину, правда, не притрунулись.

— Может, музыку поставим? — предложила Майя.

— Да какая это музыка, — остановил Алика, потянувшегося было к патефону, Джон, — он сто лет уже не работает. Ну, вы идете туда или нет?

— Куда? — тупо спросил Алик, хорошо понимая, что речь идет о том, чтобы они с Майей ушли в спальню.

Джон посмотрел на него с сожалением и обернулся к Вале.

— Валюша, — он положил ей руку на плечо, — друзьям надо уступить. Не они, так мы. Пошли?

И гордая Валя Гурьянова, вместо того чтобы сбросить с плеча его руку, молча последовала за Джоном в другую комнату.

Это-то все и решило. Стало ясно, что он, Алик, многого в жизни не понимает. И в смысле слова «верняк», сказанного Джоном на остановке, теперь можно было не сомневаться. Ну что ж, «верняк» так «верняк». Как говорится, с волками жить — по-волчьи выть. Во всяком случае, все, что полагается в таких случаях делать, он сделает. Чтобы не дать повода для насмешек. Да и самому хочется попробовать: что он, не мужчина, что ли? Вон как сердце заколотилось!

Дальше он действовал, как бы выполняя чьи-то команды: задав единственный вопрос: «Тебе не холодно?» — и не дождавшись ответа, подошел и обнял Майю. Не обращая внимания на ее удивленный взгляд и продолжая прижимать к себе, потянул к дивану; может, ему и было оказано какое-то сопротивление, но он этого даже не заметил; рывок — и она оказалась рядом с ним на диване...

Левая рука стискивала под шерстяной блузкой мягкое круглое плечо, правой — он гладил ее колено. Прижатый к Майе боком он ощущал, как напряжено все ее тело.

— Ну и что дальше? — спросила она, когда взгляды их встретились.

— Ничего.

— Что ты хочешь?

— А ты не знаешь? — Наконец у него получилась улыбка, которую он никак не мог выдать ей всю зиму, — товарища Эмиля бы сюда! — улыбка человека, уверенного в том, что он своего добьется.

Она ответила на эту улыбку таким взглядом, что руки его чуть не разжались сами собой, но из соседней комнаты доносилось глуповатое хихиканье Вали Гурьяновой и скрипучие кроватные шумы.

— Отпусти, — сказала Майя.

Он попытался ее поцеловать, сделал подряд несколько попыток, но неудачно: короткими и точными движениями головы она отводила губы — и он попадал то в щеку, то в подбородок.

— Пусти!

Он повалил ее на спину: теперь они лежали рядом, левая рука осталась под ее головой, но правая имела возможность действовать. Перевернувшись на бок и почему-то тяжело дыша, он глянул ей в лицо.

— Ну и что дальше? — спросила она.

— Сейчас увидишь.

Она спокойно усмехнулась и вдруг широко зевнула.

— Ну давай, действуй. — Напряжение, которое он ощущал в ее теле, разом спало, рука, которой она тянула вниз подол юбки, вяло откинулась в сторону, глаза равнодушно закрылись.

Нельзя сказать, что он совсем не знал, что полагается делать в таких случаях, в конце концов ему уж исполнилось двадцать три года и разговоров на эту тему он слышал немало; поэтому сразу же довольно уверенно сунул руку под юбку. Широко раскрытая ладонь коснулась шелковистой поверхности чулка, так непохожего на ошупь на те, что он вязал с матерью и сестрой в войну, пошла вверх по ноге, достигла края чулка, за которым возникла узкая полоска кожи; от соприкосновения с ней его бросило в жар, а она тихо вскрикнула — такой холодной была его рука. Ладонь, дернувшись, как от удара тока, проскочила выше, миновала что-то вязаное и туго облегающее тело, после чего опять открылась мягкая гладкая кожа. «Живот», — подумал он и, ухватившись за какую-то узкую полоску, похожую на резиновый пояс трусов, резко потянул вниз.

Она продолжала лежать неподвижно с закрытыми глазами. Короткие темно-русые и слегка выщипанные волосы еще больше округляли ее мальчишеское лицо, совсем не соответствующее полному женскому телу.

Рука продолжала тянуть вниз что-то непонятно-неподдающееся. Потом ему объяснили, что это был пояс от чулок и дергать его было совершенно не нужно. Он и сам об этом чуть позже догадался и почувствовал вдруг то, чего долго не замечал, — могильный холод этой несколько лет не топленной квартиры.

Она лежала так, будто все происходящее к ней не имело никакого отношения. Даже холод.

В соседней комнате наступила тишина.

Дернув еще раз за этот, туго стягивающий живот пояс, он убрал руку и откинулся в сторону...

Она почему-то не воспользовалась возможностью встать и продолжала лежать с задранным на живот платьем. Даже подол не поправила. Он сделал это сам. Сел. Обнаружил, что дрожит, как при сильном морозе. Но дело было не в холоде. Холод он опять перестал чувствовать. Наоборот, его охватил жар: он вдруг увидел то, что произошло, со стороны, и жаркий, сжимающий сердце стыд затряс его тело в ознобе.

Трамвай шел довольно быстро, поэтому, спрыгивая с него на углу Третьей Параллельной, Алик сильно откинул туловище назад, чтобы при приземлении не потерять равновесие.

До дома профессора-невропатолога, у которого мать бывала чаще, чем где-либо, оставалось пройти полквартила. Еще не стемнело, но жара спала, дул прохладный ветерок, и пот, проступивший сквозь рубашку темными пятнами, другим, кроме неприятных воспоминаний, объяснить было невозможно.

Прежде чем подняться по широкой каменной лестнице и нажать на звонок, Алик постоял на углу, чтобы немного обсохнуть.

Конечно, добейся он своего в тот вечер, все было бы сейчас иначе — не прячется же ни от кого Джон Агаев. Но даже если и не получилось ничего, зачем он сбежал тогда? Вот что стыдно! Хорошо хоть догадался злость изобразить. Хоть дверь хлопнуть хватило ума. И то, что Джона послал подальше, тоже правильно: жалко, конечно, но правильно. В конце концов никогда ему этот Джон не нравился, а за наглое поведение в тот вечер вполне можно было и по морде дать. «Что с тобой? Куда ты?! Да подожди же!» — только такой нахал, как Джон, мог выбежать во двор в одних трусах. И еще за руки хватать с криками. А стоило обругать его — сразу притих. Хорошо все-таки, что удалось сдержаться и не врезать ему. А как хотелось! За все: и за бостонский пиджак, и за итальянский аккордеон, и за покорность Вали Гурьяновой в тот вечер, и за собственную неудачу.

Хотя, конечно, подлым этого Джона не назовешь. Сколько раз приходил потом, уговаривал вернуться в кружок. Племянник и его друзья тоже упрашивали. Бедняги ничего понять не могли. Только когда Майя через них привет передала — зачем она это сделала, непонятно? — кое о чем начали догадываться. Но все равно переживали сильно. Слишком уж неожиданно он бросил репетиции, перед самой премьерой. И после стольких мучений. Бедный товарищ Эмиль...

Профессор открыл дверь сам. Он был в сетчатой майке с короткими рукавами и полосатых пижамных брюках.

— А-а-а, Алик, проходи, проходи, дорогой, очень рад.

Он всегда и всем радовался, профессор, и потому в такой приветливой встрече ничего удивительного для Алика не было. Еще мальчиком

его встречали здесь так же гостеприимно. Даже в те годы, когда кто-то напугал хозяев дома непонятным словом «космополит», — кто-то назвал этим словом профессора — и несколько лет он и его жена, тоже невропатолог, ходили по квартире притихшие и вздрагивали от каждого звонка в дверь. Но гостям продолжали радоваться. И даже его матери радовались — единственные люди, которые терпели ее столько лет, несмотря на все, что она с ними вытворяла. Месяца не проходило, чтобы она что-нибудь не отмочила.

И сегодня тоже. Как только Алик вошел в комнату, стало ясно, что мать опять выкинула какой-то номер. Пока он пил чай, профессор и его жена рассказывали о ней, стараясь улыбаться, но было видно, что им совсем не весело. Даже девяностолетняя мать профессора, занятая гаданием на горохе, и то осуждающе качала головой и цокала языком, не имея возможности вмешаться в разговор из-за своего гадания.

Мать, конечно, окончательно рехнулась. Точно! Не профессора девяностолетняя мать, а его, Алика, мамаша, которой и шестидесяти нет. Точно рехнулась! Иначе ее поведение никак не объяснишь. Мало того, что дома не живет, скитается по чужим квартирам, — видите ли, без ее помощи никак не обойдутся! Теперь новая причуда: вбила себе в голову, что профессор недостаточно хорошо относится к своей матери.

Алик вспомнил, что она и его в этом уверяла:

— У нее пенсии нету.

— Ну и что? Она же не работала никогда. За что же ей пенсия?

— Вот я и говорю. Кто же ей пальто купит?

— Какое пальто? Зачем ей пальто? Она же лет десять с тахты не встает.

Но мать продолжала твердить, что старухе необходимо пальто. И в конце концов купила его на свою зарплату уборщицы. Алик в дела матери старался не вмешиваться. Поэтому на просьбу профессора повлиять на нее сразу же ответил отказом.

Потом она купила старухе зимние туфли и выходную шерстяную кофту. Но самое страшное — тут профессор и жена очень грустно улыбнулись друг другу — об всем этом она написала в «Комсомольскую правду». И вдвоём обвинила профессора в том, что в его квартире протекает крыша, а он ее не чинит и тем самым губит здоровье матери.

Крыша действительно давно протекала, но, несмотря на неоднократные просьбы профессора, управдом почему-то тянул с ремонтом. Мать же считала, что во всем виноват профессор, и в письме в «Комсомольскую правду» так и изложила.

— Самое смешное, — смущенно улыбнулся профессор, он был похож сейчас на толстощекого очкастого ребенка, — крышу после этого письма срочно починили. Но каково мне?

— Собираются обсуждать его в институте, — вздохнула жена.

— Это-то бог с ним. — Профессор укоризненно улыбнулся жене. — Плохо то, что мать твоя так о нас думает.

— Да что вы на нее внимание обращаете? — возмутился Алик. — Большой человек.

Не возражая против того, что мать действительно женщина со странностями, профессор и его жена долго хвалили ее за доброту и другие человеческие качества.

Это была правда: мать последнее раздавала людям. Но профессор и его жена тоже были добрыми людьми. Алик не раз в этом убеждался на собственном примере. И когда маленький был, и когда вырос, стал взрослым, вполне самостоятельным человеком. Вот и сейчас профессор, дождавшись, когда жена ушла на кухню, участливо поинтересовался, как идут дела, потом мягко притронулся к нервно сжатому кулаку Алика и, перейдя на русский, очень серьезно попросил быть с ним откровенным.

Ну как тут можно было не насторожиться, имея полусумасшедшую мать? С чего бы профессору просить его об откровенности, если мать опять что-то не наболтала?

На этот раз она превзошла все ожидания.

Профессор задавал вопрос за вопросом, и, хочешь не хочешь, приходилось на них отвечать... Да, действительно это случилось зимой. В конце февраля. Не пять, а три раза. Да, было холодно. Причина? Причину объяснить трудно. Ну, а все-таки?.. Разве правильно то, что Алик молчит? И не надо обижаться на мать. Она совершенно разумно поступила, рассказав об этом профессору. А разве самому Алику не кажется странным, что в десятиградусный мороз он пять раз, ах, да, извини, не пять, а три раза за ночь обливался холодной водой из дворового крана?

Нет, не кажется. Почему? Потому, что на это есть причина. Какая? На вопросы врача полагается отвечать. Разве Алик об этом не знает? Почему же молчит? Ну ладно. А больше такое не повторилось? Нет. Никогда? Никогда.

Профессор вздохнул и при всей своей деликатности еще раз попытался выяснить причину странных ночных купаний Алика, но опять ничего не добился.

Не мог же Алик рассказать, что всю ночь после того, как сбежал из той квартиры, ему снилась Майя? Стоило сомкнуть глаза, как повторялось одно и то же: опять они оказывались на том же месте, но уже без Джона и Вали в соседней комнате, совершенно одни, и она, лежа рядом совершенно голая, обнимала его, прижимала к себе, ласкала, ласкала...

И продолжалось это так долго, что, проснувшись, он вынужден был бежать во двор и лезть под кран: еще мальчиком он слышал о том, что мужчине после близости с женщиной полагается совершать омовение.

В ту ночь он чуть не умер, такая была холодная вода. А на следующий день сведущие люди объяснили, что к русским этот обычай не имеет никакого отношения, да и азербайджанцы его давно не придерживаются.

Мать тогда решила, что он сошел с ума, и, конечно же, подняла страшный крик. Еле удалось ее успокоить, но, видимо, не совсем, если она все же профессору пожаловалась.

К девяти часам Алик стоял на трамвайной остановке у Дома печати. Отсюда ему были хорошо видны входные двери, и в любой момент можно было или сесть в трамвай, или незаметно отступить к крытому рынку. Но обычно она на эту сторону улицы не переходила, а, выйдя из дверей, сворачивала к музею «Низами», чтобы вернуться домой по Воронцовской, мимо бань «Фантазия». На трамвай она никогда не садилась, даже зимой.

И опять Алику показалось, что она посмотрела в его сторону, когда появилась в дверях, и, только отыскав его взглядом среди людей на остановке, свернула за угол. Он почти был в этом уверен. Но, перейдя улицу и увидев ее быстро удаляющуюся фигуру, он успокоился и прибавил шагу. Сохраняя дистанцию, конечно, на тот случай, если она вдруг обернется. Не хватало еще, чтобы она увидела, как он за ней бегаёт, после всего, что произошло, это было бы слишком. Другое дело, если бы они встретились где-нибудь случайно. И не просто так, на ходу, здравствуй, до свидания, а чтобы была возможность что-то для нее сделать, как-то проявить свое отношение...

На Воронцовской по вечерам прохожих было мало, но зато почти у каждого двора сидели люди: беседовали, грызли семечки, играли в лото, домино. Мужчины встречались реже, их почти не было слышно, они вели тихие, серьезные разговоры. Народ здесь жил смешанный — азербайджанцы, русские, армяне — и в общем-то несолидный: чуть что — бежали за помощью в милицию. Сами все затевали, а получают сдачу — на весь город крик поднимают. То ли дело его, Алика, родная улица — тут уж в милицию не побежишь. Каждый сам за себя отвечает. А не может, так терпит. Не все, конечно, в семье не без урода, как говорится...

Тут Алик вспомнил о сестре. Угораздило же ее сцепиться с Фаризом: и раньше он надёжностью не отличался, а теперь и подавно за него ругаться нельзя, на все способен.

Майя подошла к своему подъезду. На всякий случай он придержал шаг — вдруг оглянется. Но она не оглянулась, и Алик тут же прибавил ходу, чтобы застать ее на лестнице.

В полутьме парадного ее уже почти не было видно, два быстрых шага через ступеньку — и она окончательно исчезла за поворотом лестницы, но все равно было приятно еще раз глянуть на нее, не опасаясь быть замеченным. А потом прислушаться к быстрым, почти бегущим шагам, к стуку в дверь на третьем этаже и щелканью замка. После чего дверь громко хлопала и все стихало. И можно было идти домой...

Алик с ходу перемахнул через коротенькую, в три ступени, лестницу, ведущую в подъезд, и лицом к лицу столкнулся с Майей. Она улыбнулась.

Назад пути не было — бежать второй раз он не мог, — пришлось пойти вперед: поздороваться, глядя в сторону, обойти ее и деловым шагом направиться к лестнице. А что еще оставалось делать? Не мог же он остановиться.

— Ты ко мне? — Вопрос ударил в спину и воткнулся в него острым, как нож, стыдом; пришлось замедлить шаг.

Надо было ответить «да, к тебе», будь, как говорится, что будет, но он сказал «нет», даже не повернув головы в ее сторону, чтобы, не дай бог, не столкнуться взглядами.

Она не поленилась, обошла его и в упор уставилась улыбающимися глазами.

— А к кому?

— Так просто. — Сам удивился глупости своего ответа.

— Понятно. — Она продолжала смотреть ему прямо в глаза. — Ты еще долго будешь ходить за мной? — И что-то смахнула рукой с верхней губы, что-то легкое, может быть, паутинку или мошку какую-то. — Ты зачем за мной ходишь?

— Я не хожу. — Этот ответ был еще глупее первого. И глаза опустились сами по себе, как в школе, когда его уличали в незнании урока.

— Ну ладно, — сказала Майя очень похоже на учительницу с первого по четвертый класс, имя которой Алик давно забыл; та точно так же произносила это слово, когда, уставившись в парту, он не отвечал на ее вопросы. После чего произносилось долгожданное «садись» — и его надолго оставляли в покое. Но здесь, в парадной, сесть было не на что.

— Нам надо поговорить, — сказала Майя.

Неужели она видела, как он за нею ходит? Эта мысль пронзила Алика тем же острым ножом, но уже в обратном направлении, в грудь; начавшееся там жжение перекинулось на шею и лицо. Хорошо хоть в парадной было темно.

— Ты слышишь меня? — голос Майи доносился откуда-то издали. — Нам нужно поговорить.

— О чем? — Глупее ответ придумать было невозможно, жжение усилилось.

— Ты считаешь, нам не о чем говорить?

— Почему? Можно и поговорить.

— Спасибо. — Она даже присела чуть-чуть, как Дина Дурбин в фильме «Сестра его дворецкого». — Пошли.

Красивый поворот, и она шагнула из подъезда на улицу. Пришлось вынести пылающее жаром лицо на белый свет — проклятый летний день все не кончался, хотя было уже не меньше половины десятого.

— Что с тобой? — И Майя рассмеялась. Потом тут же прервала смех и даже нахмурилась, чтобы выглядеть серьезнее.

Этот короткий смех, плеснувшись о его раскаленное лицо, зашипел, как вода в парной, и потными струйками потек по шее, по спине, между лопатками.

— Ты чего смеешься? — спросил Алик хмуро, хотя она уже не смеялась.

— Какой ты красный! — улыбнулась Майя и вдруг протянула руку к его лицу.

Он даже вздрогнул от неожиданности. Что-то белое коснулось его лба, и, прикрыв глаза, он понял, что это платок.

Вытерев ему лицо и шею, она полезла было и под воротник рубашки, но он отстранился.

— Ну, куда пойдём? — спросила она, пряча платок в карман сарафана. — Может, на бульвар?

— Можно, — еле выдавил он, и они пошли назад по Воронцовской, мимо всего этого болтающего, грызущего семечки, играющего в лото и домино народа.

— Вот пялят глаза. — Майя недовольно передернула плечами, — Сплетницы чертовы.

— Они тебя знают, что ли? — Алик с удивлением услышал свой голос.

— Еще как! Делать-то нечего, вот и следят. С кем пошла? Куда пошла? — Все интересуется. Я первое время злилась, а потом решила — наплевать, пусть болтают, что хотят. Бабка только расстраивается.

Она приехала из Витебска и жила с бабушкой. Алик знал об этом, но для поддержания разговора спросил:

— Какая бабка?

— Моя.

Отец ее погиб на фронте, мать вышла второй раз замуж. А с отцом Майя не ладила — и об этом Алик тоже знал.

— Как ты думаешь, выйдет из меня актриса? — спросила она, и, встретившись с ней взглядом, Алик опять удивился тому, какие красивые у нее глаза, по размерам не меньше, чем у его барашка, а говорят, что бараньи глаза самые крупные. Но цвет, конечно, у нее лучше — серо-голубой, как небо. Родной цвет.

— Конечно, выйдет. Товарищ Эмиль очень тебя хвалил.

— Что он понимает? — усмехнулась Майя. — Он только образование имеет. На сцене никогда не играл.

— А фильм?

— Групповка, — презрительно махнула рукой Майя, — меня и то пригласили сниматься. В массовку или групповку каждый может попасть.

— Что же ты все, что он говорил, делала, а теперь ругаешь?

— Я не ругаю. Он хороший дядька. Но не авторитет. А мне нужен человек, который бы меня направил. Вот в клубе Двадцати шести Лежнев ведет кружок. Из ТЮЗа. Не знаешь? Это — другое дело. Это настоящий актер.

— Что же ты к нему не пошла?

— Я же в типографии работаю. Вот и пришла в Дом печати. А потом, когда все разузнала, уже как-то неудобно было уйти. И к ребятам привыкла. Да и к Эмилю тоже. Он так старается.

— Да, — с удовольствием согласился Алик: сто Лежневых не отдал бы он за товарища Эмиля, хотя он и не авторитет.

Так в разговорах о том, о сем они дошли до бульвара. Наконец стемнело. Народ в основном гулял парочками.

— Пойдем на Студенческую? — спросила Майя.

Алик вопроса не понял, но виду не подал. Видимо, речь шла об аллее, потому что, пройдя немного, Майя свернула туда, где под деревьями было потемнее, и села на свободную скамейку.

— Здесь удобнее, — сказала она. — И шпаны меньше.

Алик промолчал: Студенческая так Студенческая, хотя ничем эта аллея от других не отличалась, — такие же скамейки под деревьями, асфальт под ногами и полно парочек, стоящих, сидящих, идущих.

— Тебе привет от меня передали?

— Передали.

— Что же ты ничего не ответил?

— У меня баран ненапоенный, — вдруг вспомнил Алик.

— Что?!

— Ему в десять попить надо дать. Он привык.

— Какой баран?

— Мой.

— У тебя есть баран?

— Да.

— А где ты его держишь?

— В коридоре.

— Дома?

— Да.

Она громко рассмеялась. Несколько парочек недовольно оглянулись.

— Большой?

— Нет, не очень. Шесть месяцев.

— И что ты собираешься с ним делать?

Пришлось рассказать ей всю историю барашка. И про обрезание племянника тоже. Эту часть истории она никак понять не могла.

— Ты-то чего старался?

— Как чего? Всех его товарищей обрезали, один он остался.

— Ну и что?

— Неудобно же.

— Перед кем?

— Перед соседями.

— А тебе-то почему неудобно? Ты же русский.

— Русский.

— Или нет?

— Почему нет?
— А по тебе не поймешь! Глаза, правда, светлые, а кожа совсем смуглая.
— Это загар.
— И волосы темные.
— Если русский, обязательно блондином должен быть?
Она опять рассмеялась.
— А сестра, значит, за азербайджанца вышла?
— Да.
— Ну и как?
— Нормально.
— А это правда, что ты чуть что — за нож хватаешься?
— Я?!
— Да, ты! С крыши даже прыгнул с ножом. Было такое?
Об этой истории ей вполне мог рассказать племянник или кто-то из его друзей, отпираться не было смысла.
— Было.
— Ну вот видишь. — Она удовлетворенно улыбнулась. — Я про тебя все знаю. Дикая ты человек, уберешь и не задумаешься.
Тут уж он не удержался от улыбки. Это он дикий человек? Да он мухи не обидит, пока его не заставят. Если она хочет знать, так он на другую сторону переходит, когда навстречу пьяный идет или шпана какая-нибудь.
— Почему?
— Чтобы не связываться. Скажут еще что-нибудь не то, придется ответить.
— Смотри какой осторожный. — Она глядела на него с чуть насмешливой улыбкой. — А с крыши почему прыгнул?
— Я их предупредил, чтобы не ругались. А они не послушались.
— Кто? И прыгнул на них с ножом?
— Они тоже с ножами были.
— Двое?
— Трое. Подняли ночью крик. Матом ругаются. Ножками машут. А мы с сестрой на крыше спали. Я им говорю: тише, тут же кругом женщины, дети. А они меня послали. Пришлось прыгнуть.
— Высокая крыша была?
— Да. Ногу поломал.
— А они что?
— Знакомые оказались. Извинились.
— А если бы не извинились.
— Не знаю. Я об этом не думал, прыгнул — и все.
— Рассказывали мне о твоих подвигах.
— Кто рассказывал?
— Все. Ты как появился, сразу пошли разговоры. Эмиль тоже нас предупредил, чтобы на всякий случай повежливее с тобой обращались.

— Эмиль? Не может этого быть!

— Он мне лично говорил.

— Что же сам на меня орал?

— Нервный. Ты тоже нервный?

— Да, наверное.

Они оба вспомнили про тот случай, когда он при всех грохнулся от волнения на пол, но говорить об этом не стали: пожалела она его.

— А я на тебя страшно разозлилась.

— Когда?

— Там... Когда ты на меня набросился. Надоело уже: с кем ни встретишься, набрасываются, как звери. И этот тоже, думаю. Целоваться даже не умеет, а лезет. Ты что, никогда не целовался? Что молчишь? Я же вижу.

Они помолчали немного. Посидели тихо и неподвижно, вслушиваясь в шорох ветвей и шепот парочек.

— Ну ладно,— сказала она,— пошли поить твоего барана.

Он сразу встал, она продолжала сидеть. Потом медленно поднялась: что-то непонятное было в ее взгляде, в темноте он казался каким-то мутным.

— Поцелуй меня.— Она обняла его за шею.

Притиснув свои сухие и плотно сжатые губы к ее рту, Алик ничего, кроме неловкости, не чувствовал. Но она не отпускала его голову, наоборот, все сильнее прижимала к своей. До боли. И вдруг что-то сделала с его губами: они обмякли, зашевелились, коснулись ее зубов...

Она продолжала больно прижимать к себе его голову, но теперь это было приятно. Руки сами собой сошлись за ее спиной... Чуть выше живота он чувствовал упругое прикосновение ее груди, они как бы мягко отталкивали его, но стоило отодвинуться, как они поспешно утыкались в то же место, вызывая какое-то сладкое и тающее чувство.

По дороге к нему домой они продолжали целоваться, останавливались в каждом темном месте. Но долго она не выдерживала, начинала задыхаться, как под водой. И когда он отпускал ее, жадно глотала воздух. Теперь они почти не разговаривали. Одно было странно: если она видела, что он за ней ходит, почему только сегодня сказала об этом? Почему столько тянула? Но спросить он стеснялся...

Двор уже спал, когда они добрались наконец до его дома. Даже в подвале у Ханманы свет не горел, а старуха ложилась поздно.

Барашек тоже спал. На шум шагов он вскинул голову и поспешно поднялся на ноги, скользя копытцами по асфальтовому полу. Зазвенели шарики на кровати.

— Какая прелесть! — ахнула Майя и бросилась его обнимать.

Алюминиевая миска, которую Алик, уходя, наполнял водой, была пустой...

Пока барашек жадно пил, Майя обнимала его одной рукой и нашептывала на ухо что-то ласковое.

— А что будет потом, когда он вырастет? — Она встревоженно посмотрела на Алика.

Здесь, при ярком освещении, даже представить себе было невозможно, что совсем недавно он с этой девушкой целовался; такой недоступно красивой она сейчас казалась.

— Не знаю. Будет жить, как живет...

— Но это же невозможно.

— Почему? Кому он мешает?

— А мама?

— Она здесь почти не бывает.

— Да, я слышала. — Стало ясно, что Майя о нем знает не меньше, чем он о ней. Это Алику понравилось. Хорошо, что она все о нем знает и это ее не испугало, не оттолкнуло. Ни то, что он всего семь классов окончил, ни полусумасшедшая мать, ни баран в доме, ни асфальтовый пол...

Продолжая сидеть на корточках рядом с бараном, Майя поправила волосы и огляделась.

— Надо прибраться здесь.

— В комнате чисто. Идем туда.

Они прошли в комнату. Из-за стены соседнего дома солнце почти не попадало в единственное окно, и поэтому воздух здесь всегда был прохладно-сыроватый. Кровать он утром аккуратно застелил. Шифоньер был старый, довоенный, но выглядел прилично. На столе красовалась хрустальная пепельница, подаренная много лет назад женой профессора.

— Садись.

Они сели друг против друга по разные стороны стола.

— Значит, ты видела, что я за тобой хожу? — Алик даже удивился своей смелости — вон как заговорил! — вопросы задает, что-то выясняет.

— Да.

— Давно?

— Еще зимой.

— Я чувствовал.

— Что же ты не подошел?

— Стыдно было.

— Я все ждала, ждала. И не выдержала.

— Терпение у тебя ничего, — улыбнулся он. — А вдруг бы перестал ходить?

— Тогда бы это был не ты. А мать совсем сюда не приходит?

— Редко.

Она вздохнула и посмотрела на него с сочувствием. Потом перегнулась через стол и потрепала за волосы.

— Ты чего? — смутился он.

— Ты мне очень нравишься, — серьезно объяснила она. — В тебе

одновременно и сила чувствуется, и мягкость. Редкое сочетание. Если не испортишься, конечно...

— Куда уж мне, — продолжая смущаться, сказал Алик. — Поздно меняться.

— В двадцать три года-то? Да ты еще десять раз можешь поменяться. — Они помолчали. — У тебя отец в каком году погиб?

— В сорок втором.

— А мой в сорок пятом. Под Прагой. Твоя мать молодец. А моя сразу вышла замуж.

— Моя была уже старая. Сорок пять лет ей исполнилось, когда похоронка пришла.

— Женщинам возраст не помеха. Старухи тоже замуж выходят.

Он вспомнил о Ханмане. Действительно, подвернись ей подходящий жених, вполне может выскочить замуж. Даром, что ли, жилплощадь расширяет...

— Ну пошли? — спросила Майя.

— Может, я чай поставлю?

— Поздно. Бабка ругаться будет... Надоела страшно.

— А сколько ей?

— Шестьдесят.

— Мама у тебя молодая?

— Сорока нет.

— Красивая?

— Очень. Когда папа погиб, ей двадцать восемь было, а мне шесть. — Она встала.

И тут в комнату вошла сестра. Как обычно, без стука и предупреждения.

Увидев Майю, от растерянности не поздоровалась, повернулась спиной и, не поднимая заплаканных глаз, тихо спросила:

— Ты где ходишь?..

— Ты поздоровайся сперва.

— Здравствуйте, — вежливо сказала Майя.

Сестра, не глядя на нее, мотнула головой. Она еле сдерживала наворачившиеся на глаза слезы.

— Надир приехал? — как можно мягче спросил Алик.

— Давно.

— Не спит еще?

— Тебя ждет.

— Я попозже зайду.

— Когда?

— Скоро.

— Ему вставать рано. — Сестра, пряча от Майи лицо, боком пошла к двери.

— Что-то случилось? — спросила Майя.

— Да.

Рассказывать о том, что произошло между сестрой и Фаризом, ему не хотелось. Майя это почувствовала и больше вопросов не задавала.

Они вышли во двор.

— Газ проводят, — сообщил Алик, когда они проходили мимо беседки со столом газовщиков.

Майя молчала.

— С соседом она поругалась, — сказал Алик, чтобы как-то объяснить странное поведение сестры.

— Она совсем на тебя не похожа, — задумчиво произнесла Майя и взяла Алика под руку. Он успокоился сразу, на душе полегчало от ее прикосновения.

— Я на отца похож, — сказал он, — а сестра на мать... Отец тоже темный был.

— Ты проводишь меня?

— Конечно.

— Они же тебя ждут.

— Ничего. Успею.

Они пошли быстрым шагом по круто спускающейся к центру города его родной улице. Впервые в жизни Алик шел здесь под руку с девушкой. Своей девушкой...

Пару кварталов они миновали молча. Потом остановились у бывшей мечети и, стукнувшись зубами, стали целоваться. Почувствовав соленый привкус крови на ее прокушенной губе, он испугался, но она перевела дыхание и опять прильнула к нему... И сколько это продолжалось, он не помнил, может, десять минут, а может, час...

У ее дома они опять обнялись.

— Завтра придешь? — спросила она между поцелуями.

— Конечно.

— Приходи прямо туда, к Дому печати.

— Хорошо.

— Барашка не забудь с собой взять...

Они рассмеялись.

— Ну ладно, беги. Тебя же ждут.

— Ничего...

Ему хотелось сказать ей кое-что важное, про их отношения, про то, что с его стороны все серьезно. Чтобы она это знала.

— Ну что ты стоишь? — Она обняла его.

— Ты не думай, — заставил он себя начать. — Я не просто... Ты не беспокойся.

— Ты о чем? — удивление ее было настолько искренним, что он смутился.

— О наших отношениях...

— А почему я должна беспокоиться? — Она откинула голову, и в глазах ее отразился свет уличного фонаря.

Он не знал, как ей объяснить. Казалось бы, и понимать тут нечего: девушки всегда боятся, что на них не женятся; поиграются с ними, погуляют и бросят. И с сестрой его так было — измучилась от волнения: жегнтся на ней Надир или нет?

Он попытался ей все это объяснить, и наконец она поняла.

— Хороший ты мой. — Она опять провела рукой по его волосам, — Ты что, мне предложение делаешь?

— Не сейчас, вообще. Когда ты захочешь. Чтобы знала...

— Ты серьезно? — Улыбаясь, она продолжала гладить его по волосам.

— Да...

— А не забыл, что я актрисой собираюсь стать?

— Ну и что?

— Ты не против?

— Почему?

— А кто тебя знает? Ты же азиат настоящий. Еще заставишь дома сидеть. — Она положила руки ему на плечи. — Честно говоря, бабка мне страшно надоела...

— А мать твоя возражать не будет?

Она еле заметно качнула головой, и что-то промелькнуло в ее глазах, какая-то тень; он понял, что о матери ей лучше не напоминать.

— У меня сыровато. — Он постарался перевести разговор, — но скоро газ проведут...

— Я сырости не боюсь, — сказала Майя очень серьезно и приподнялась на цыпочках. — И вообще мне у тебя понравилось...

Они опять поцеловались...

Голоса Надира и сестры слышны были уже на лестнице; так раскричались, что ни он, ни сестра не услышали даже, как Алик, войдя в темный коридор, опрокинул ногой велосипед племянника.

— Вот именно! — орал как резанный Надир: видимо, успел выпить после дежурства. — Везде нос свой суешь. Какое тебе дело, что они собирались с ним сделать?! А теперь хочешь меня впутать?!

— Никто тебя не впутывает.

— Идиотка несчастная! Какие у тебя доказательства, что все было так, как ты говоришь? Кто видел, как он тебя толкнул?

Войти в комнату сейчас, когда он так орет, нельзя, ни к чему хорошему бы это не привело. А ждать в коридоре, когда все это кончится, не хотелось. Оставалось одно — уйти. Повернуться, перешагнуть через велосипед и отправиться домой. Двух мнений тут быть не могло — домой, и только домой.

Но Надир продолжал кричать, и то, что он выкрикнул, когда Алик уже был в дверях, заставило его остановиться.

— Привыкли на меня все валить. Хватит! Надоело! Братец твой, небось, сразу смылся! Понимает, что к чему, защитник семейной чести! Не хочет рисковать! А я должен отдуваться.

— К нему девушка пришла.

— Какая девушка! Что же она раньше не приходила?

Пнув велосипед, Алик вошел в комнату. Сестра плакала, прислонившись к черному пианино, муж ее почему-то брился на ночь и орал, разглядывая в зеркале намыленное лицо. На столе между тарелок с хлебом и жареной колбасой валялись деньги, видимо, зарплата.

— Чего ты орешь? — спросил Алик, спокойно спросил, негромко.

Но сообразительный Надир сразу утих, заговорил нормальным голосом.

— А ты не знаешь?

— Знаю. Но кричать зачем? На весь двор вас слышно.

Сестра перестала плакать и начала торопливо прибирать со стола.

— Не суетись, — остановил ее Алик, — я ухажу.

— Куда ты? — Какой, оказывается, деньги, видимо, зарплата, когда старается. — Поговорить же надо.

Не ответив ему, Алик спросил у сестры, во сколько уезжает на работу Фариз.

— Рано.

Ответ ее возмутил Надира.

— Тебя спрашивают, во сколько, то есть в котором часу? А ты: «рано». — Скривив лицо, он передразнил жену.

— Откуда я знаю, когда он уезжает. Что, я слежу за ним, что ли? Часов в шесть, наверно.

Алик пошел к двери. Надир попытался остановить его, но безуспешно... Так и не стерев с лица мыльную пену, он проводил Алика до подворотни, той самой, где семь лет назад чуть не был заколот кухонным ножом.

— Ты меня пойми, — торопливым шепотом объяснял он Алику, — она весь день плачет. А что я могу сделать? Я врач, сам понимаешь... Свидетелей у нее нет... Никто ничего не видел, только дети. А кто им поверит... Правильно я говорю? — Он поймал Алика за рукав рубашки. — Официальным путем тут ничего не добьешься, я точно знаю. А она ничего понимать не хочет. Заладила одно и то же: «Он меня толкнул, он меня толкнул». Ну, что теперь делать? Избить его, что ли? Я этого не могу... Я не...

— Ладно, — прервал его Алик. — Спать пора...

Надир с готовностью умолк; он оставался у ворот до тех пор, пока Алик, поравнявшись с акацией, не свернул за угол.

— Кем он там, в Дивичах, работал, никто не знал. Жена его Хлида всю войну очень дружила с сестрой, вместе работали на швейной фабрике. Старшего сына она на весь день оставляла у них; с тех пор он и получил прозвище Друг: шага без племянника не делал. Но при этом

умудрился где-то туберкулез легких подхватить. Если бы Фариза как нефтяника с образованием не демобилизовали из армии одним из первых, конечно же, Друг долго бы не протянул.

Первое, что сделал Фариз, — это обменял квартиру, перетащил семью на второй этаж. А маленький Марат с матерью и пишущей машинкой перешли в их квартиру на первом. За приплату, конечно.

Халида продолжала дружить с сестрой и после войны; Фариз тоже сблизился с Надиром...

К Фаризу Алик претензий не имел. Это был человек семейный, солидный. Разожгут во дворе мангал, сделают шашлык на две семьи, пообедают вместе, и все: он с женой и сыном — домой. А Надир — нет, ему обязательно надо еще погулять. Не мог остановиться. На всю ночь уходил. Вот и пришлось вмешаться.

Да, очень дружили две семьи. И вдруг разом все кончилось: и семейные шашлыки, и совместные поездки на море, и общие друзья...

Он даже у сестры спрашивал: может, случилось что-нибудь? Не натворил ли чего Надир? Но сестра и сама ничего понять не могла: дружба прервалась без всяких причин... Только Друг продолжал бегать к племяннику, не спрашивая разрешения родителей.

Надиру на все это было начхать, но сестра очень переживала. Все же не один год дружила с Халидой. Еще в школе вместе учились. А главное, никак не могла уяснить, в чем причина разрыва?

И только спустя годы все выяснилось. Халида сама кому-то проболталась, что отдались они от соседей без каких-либо особых причин: Фариз перешел на новую работу и решил заодно поменять друзей и знакомых — вот и все.

С тех пор с соседями он только здоровался. Причем глядя куда-то вдаль. Кивнет, проходя мимо, и больше ни слова, будто они все перестали для него существовать.

В Дивичи его послали большим начальником — по Халиде видно, командует двором, как хочет. А от маленького Изика вообще житья нет — каждый день что-нибудь новое придумывает.

Может, Фариз и не знает обо всем этом, человек он занятой. Но если так, почему сестру толкнул? Ну любит сына, понятное дело, кто не любит своих детей? Но как можно из-за мальчишки поднять руку на взрослую женщину? Теперь-то ясно, что она ни в чем не виновата. Наоборот, спасибо заслужила. Что же он в Дивичах своих творит, если даже здесь ни в чем не повинных людей обижает.

А какой был парень! Вместе жмых ели в сорок втором, когда еще в институте учился. А как за Друга благодарил, когда с фронта вернулся, — всем двором мальчишку спасали, подкармливали как могли, — со слезами на глазах клялся, что никогда этого не забудет! И вот как все кончилось! Другой человек! Будто подменили! Как жизнь меняет людей!

Неужели он думает, что ему все можно, все сойдет с рук? Одного обидел, второго, третьего, но ведь рано или поздно найдется человек, который поведет себя достойно. Не только же Надиры живут на белом свете. Он же умный парень, Фариз, неужели не думает о таких вещах? Ну хорошо, с Надиром ты не считаешься. А сестра? Как могла рука на нее подняться?! Ну, предположим, совесть ты совсем потерял. Но как о страхе-то мог забыть? Страх — не совесть, которую не каждый день проверяют: он в тебе обязательно сидит. Разделил людей на сорта — одних можно бояться, других — нет, и надеешься так жизнь прожить? Ошибаешься. Не получится. Потому что рано или поздно кто-нибудь из тех, на кого ты плюешь, не выдержит и накажет тебя за наглость. И неважно, кто этот человек; он свое дело сделает, а потом выисняйте все вместе, какой он был и почему так поступил.

Не заходя домой, Алик поехал в больницу, где работала мать. Вполне возможно, что она осталась там на ночь; в последнее время она делала это все чаще и чаще...

Сторожа в дежурке у ворот, конечно, не было, опять ушел ночевать в корпус. Кричи не кричи, не услышит; пришлось лезть через забор.

Дверь в новый корпус на ночь обычно запиралась на ключ, но сегодня, несмотря на позднее время, она почему-то еще была открыта. В палатах все уже спали. Мать могла находиться в любой из них — в зависимости от того, кто больше, по ее мнению, нуждается в уходе...

На третьем этаже в комнате дежурного врача горел свет; видимо, там же сидела и ночная медсестра. Они-то точно знали, где можно найти мать. Но разговаривать сейчас ни с кем не хотелось. Особенно здесь, где мать работала в последние годы, когда уже совсем рехнулась...

Нашел он ее на пятом этаже, в коридоре. Она спала, сидя на белом деревянном диванчике; клевала носом, и казалось — вот-вот свалится на пол...

Подойдя поближе, он увидел, что одной рукой она держится за докторские весы, возвышающиеся над диванчиком.

— Ты чего здесь сидишь? — сердито спросил Алик, когда она открыла глаза на шум его шагов.

— Дежурю. — Мать выпрямилась и придала себе добрый, деловой вид.

— Зачем? Ты что, врач? Или медсестра? Или санитарка? Ты свое дело сделала — убралась, вытерла полы — и шагай домой.

Мать даже отвечать ему не стала, посмотрела с сожалением, как на больного, и, махнув рукой, встала.

— Куда ты? — спросил он, сбавив тон.

— Женщина у меня после операции. Проверить состояние надо. — Она поправила накинутый на плечи белый халат, под ним серел ее собственный, бязевый.

— Ты почему домой не приходишь? — перейдя на шепот, спросил Алик.

— Времени нету.
— Ты посмотри, на кого ты похожа. Совсем не спишь, что ли?
— Почему? Сплю...
— Вижу я, как ты спишь. Как воробей. Где дежурный врач? — Он решил немного припугнуть ее.

— К нему нельзя.
— Почему?
— У него гости.
— Тогда пошли домой.

Мать повернулась и быстро, почти бегом припустилась по коридору. Он догнал ее у двери на лестнице, преградил дорогу.

— Подожди, мама. — Раздражение его уже прошло. — Ну, хорошо, только не волнуйся...

Слезы подрагивали на кончиках ее редких бесцветных ресниц.

— Как тебе не стыдно? — Ей трудно было говорить от обиды.

И вдруг так стало жалко ее, что он сам чуть не заплакал.

— Ну, ладно, ладно, извини. — Он обнял ее, прижал к груди, чтобы она не видела его лица. — Больше не буду, — так он говорил ей в детстве, когда она его ругала за какую-нибудь проделку. — Только ты тоже не права. То, что ты людям помогаешь, ухаживаешь за ними, — это хорошо. Молодец. Но домой тоже надо приходиться. Все люди работают, дежурят, но живут у себя дома. Я тебя очень прошу. Слышишь меня?

Мать виновато, как маленький ребенок, кивнула головой.

— Когда придешь?

— Завтра.

— Точно?

— Да... Ты что, уезжаешь? — вдруг спросила она.

— Не знаю, — растерялся он от неожиданности вопроса. — А с чего ты решила?

— Чувствую.

Алик удивленно покачал головой.

— А что ты чувствуешь?

Она не ответила и пошла назад к своему диванчику.

— Ты иди, — попросила она, когда он ее догнал, — а то врач тебя увидит.

Сразу же, как она это сказала, на лестнице послышались шаги. Мать беспокойно оглянулась.

— Да не волнуйся ты, у него у самого гости.

В конце коридора появилась мужская фигура в халате. Даже в неярком свете ночника было видно, что это не врач. Алик всех их хорошо знал.

— Кто сегодня дежурит?

— Самед Агаевич. — Мать пошла навстречу мужчине.

— Ну как она? Не просила ничего? — Голос мужчины показался Алику очень знакомым.

— Больная спит, температура нормальная, оснований для беспокойства нет,— очень серьезно и ответственно сказала мать.

— Спасибо вам большое... Я так вам благодарен...— Теперь мужчина повернулся к свету, и Алик узнал его — это был товарищ Эмиль, руководитель драмкружка из Дома печати.

Но что-то с ним случилось за эти несколько месяцев — очень он изменился. Давно не чесанные длинные волосы свисали клочьями по обе стороны горбоносого лица, опухшие красные глаза слезились и непрерывно моргали.

Алика он то ли не узнал, то ли не увидел, хотя, разговаривая с матерью, несколько раз остановил на нем растерянный взгляд.

Что-то произошло с товарищем Эмилем, не мог он так измениться без серьезных причин. Но почему Майя ничего не сказала сегодня? Неужели не знает?

— Товарищ Эмиль, что с вами? Что случилось?! — Алик шагнул к своему бывшему руководителю.

— Кто это?! — нервно дернул головой товарищ Эмиль и с недоумением уставился на Алика.

— Это мой сын,— сказала мать.

— Я — Алик! Помните? В кружок к вам ходил. Зимой.

— Алик? Какой Алик? — беспомощно спросил сам себя Эмиль.

— Вы кричали на меня все время.

Это помогло — Эмиль начал вспоминать.

— А-а-а, Алик, да, конечно... Здравствуйте,— продолжая взглядываться в Алика, он вдруг весь сморщился и заплакал.— Милю?.. вы помните Милю? — Больше он не мог ничего сказать; прикрыв рот платком, отвернулся к стене.

Конечно же, Алик помнил Милю — толстенную темноглазую жену товарища Эмиля, он — Эмиль, она — Миля, которая перед каждой репетицией кормила мужа обедом: после основной своей работы, где-то за городом, он не успевал пообедать дома. На нее он тоже кричал, но она никогда не обижалась, видимо, привыкла.

— Не надо плакать, товарищ,— сказала мать,— состояние больной удовлетворительное.

Он отчаянно замотал головой, не соглашаясь.

— Метастазы по всему организму,— тихо сказала Алику мать,— даже оперировать не стали.

Эмиль резко обернулся:

— Только умоляю вас, Алик, никому ни слова. Никто не знает.— Он опять поднес платок ко рту, чтобы сдержать рыдания.

А еще несколько месяцев назад это была счастливейшая семья. Эмиль и Миля. Кто бы мог подумать, что жизнь так быстро все изменит?! Как вообще все ненадежно! Еще два часа назад он, Алик, считал себя самым счастливым человеком на свете. А сейчас?!

Всю ночь он видел во сне что-то приятное, но, проснувшись утром, никак не мог вспомнить, что именно ему снилось.

Конечно, сон был связан с Майей. В этом он не сомневался. Что еще могло ему присниться такое приятное, что, даже проснувшись, он продолжал улыбаться?! Только Майя. Другого, из-за чего он мог улыбаться во сне, в его жизни не было. Только она...

Барашек, звонко цокая по асфальту копытцами, торопливо перебирал ножками, чтобы не отстать. Время от времени он останавливался, упрямо наклонив голову, и приходилось брать его на руки. Килограммов восемь в нем уже было, но Алик ощутил эту тяжесть только в Майином подъезде, когда лестница вывела его к темно-коричневой двери с множеством звонков. Какой из них ее? Этот? Этот? Этот?.. И как нажать на кнопку в такую рань? Если бы она жила одна — другое дело...

За дверью не было слышно ни звука. И все же он заставил себя позвонить — должен же он хоть что-то сказать ей на прощанье.

— Кто это?! — раздался встревоженный женский голос, после того как он нажал на кнопку звонка еще несколько раз.

— Майя дома?

— Что?

— Майя дома? — повторил он громче.

Женщина за дверью пробормотала что-то невнятное — стало ясно, что он выбрал не тот звонок. Шаги удалялись. Послышались далекие, но довольно громкие голоса. И опять из-за двери задали тот же вопрос:

— Кто это? — и этот голос был женский, но более старый.

— Майя дома?

— Да.

— А кто это?

— Ее знакомый.

— Какой знакомый? Майя спит...

— Это ее бабушка?

— Да.

— Извините, пожалуйста. Я принес ей кое-что...

— Кто это, бабушка? — послышался голос Майи; сердце заколотилось так, что стало трудно дышать.

— А черт его знает! Ни свет ни заря...

— Алик, ты? — негромко спросила Майя.

— Да.

— Что случилось? — Щелкнул замок, она выскользнула в чуть приоткрытую дверь и просияла, увидев барашка. — Ой!

— Это тебе, — сказал Алик и сунул ей в руку конец веревки.

— Ты с ума сошел... Сколько сейчас? — Одна щека ее была в полосках — от подушки.

— Шесть, — ответила из-за двери бабушка.

Майя присела на корточки и обняла барашка.

— Иди ко мне, хороший мой, иди, иди, не бойся...

Алик отступил к лестнице.

— Ты сумасшедший.— Майя крепко прижала лицо к мордочке барашка, и теперь они смотрели на него вдвоем — четыре глаза: два — черных, два — голубых... Что-то надо было сказать им на прощание...

— Он любит арбузные корки, — вот все, что в этот момент придумалось; Алик быстро пошел вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки... А что еще он мог ей сказать?..

Посмотрев на часы, он понял, что надо торопиться...

Через десять минут он вошел во двор сестры. Насвистывая под нос что-то не очень грустное, поднялся на второй этаж. Сел на старую табуретку у двери сестры. Двор только-только просыпался, но через пару минут все уже знали, что он здесь, и сразу поняли, зачем он пришел.

Под разными предлогами, по одному, по двое соседи появлялись во дворе, чтобы поздороваться с ним. У всех был серьезный, соответствующий моменту вид.

Фариз все не появлялся.

Послышался шум подъехавшего к воротам «виллиса». Какие-то непонятные знаки подавал в прикрытую дверь Надир. За ним мелькали бледные, взволнованные лица сестры и племянника. Знаки Надира стали понятны, когда вместе с водителем «виллиса» на балкон второго этажа поднялись еще двое мужчин. Как и Фариз, они были в серых, под горло застегнутых тужурках.

Когда эта троица вошла в дверь Фариза, открывшуюся без всякого стука, Надир опять отчаянно замахал руками. Пришлось подойти поближе, чтобы услышать его шепот:

— Люди специально вызваны... Придется отложить.

Все было ясно и без объяснений.

— Слышишь меня, — продолжал волноваться Надир, — придется отложить. Опасно...

Алик вернулся на табуретку. Поднял с пола тонкую палку — кусок чабука, которым вчера женщины взбивали шерсть. Выгнул из кармана маленький перочинный ножик и, чтобы скоротать время, начал строгать палку, подравнивать ее поломанный конец. Со стороны казалось, что он очень увлечен: во всяком случае, по сторонам не смотрел.

Фариз все медлил.

На балкон вышла сестра, пустила слезу.

— Может, не надо, а? — неуверенно спросила она, готовясь заплакать. — Прошу...

— Зайди в дом, — попросил ее Алик.

Фариз вышел из двери третьим, замыкал шеренгу шофер. Гуськом, один за другим они двинулись по балкону к лестнице.

Алик встал, негромко, удивляясь собственному спокойствию, окликнул Фариза.

Все четверо оглянулись одновременно. Остановились.

Алик отбросил в сторону палку, сложил и засунул в карман перочинный ножик и неторопливо направился к ним.

Шофер шагнул вперед, двое в тужурках встали по обе стороны Фариза.

— Что ты хочешь? — нервно спросил Фариз, когда Алик, подойдя вплотную, левой рукой отодвинул в сторону шофера.

— Женщин бить легко, — произнес Алик с вечера приготовленные слова, голос его от скрытого волнения звучал глухо и низко, — а ты попробуй побить мужчину...

На последнем слове Алик откинул тело назад, как при прыжке с трамвая, и вlepил пощечину широко раскрытой правой ладонью. Он знал, что больше ничего сделать не сможет, — этих двоих Фариз пригласил не только для того, чтобы иметь свидетелей; всему, как говорится, свое время. А сейчас у них другая задача, пощечину они проморгали, но зато остальное провернули как надо: один сразу же повис на правой руке, другой — на левой. Шофер навалился сзади и почему-то разорвал до пояса рубаху.

Фариз не использовал возможность ответить ударом на удар: все же постеснялся бить человека с выкрученными руками.

Краем глаза Алик увидел выскочившего на балкон племянника в красной набедренной повязке и рвущуюся из рук Надира сестру. Хорошо хоть вчера удалось мать повидать.

— Куда его ведут? — кричала сестра. — Отпустите его... Алик! Алик! — так же надрывно она кричала той ночью, когда он прыгнул с крыши на тех троих с ножами, видно, Надир объяснил ей, что может сделать Фариз человеку, давшему ему по роже при свидетелях...

Его вели дорогой, по которой вчера вечером, семь часов назад, он шел с Майей.

У бывшей мечети, с прошлого года ставшей складом «Пищеторга», он остановился. Пришлось и им задержаться, не тащить же его на руках. Они не понимали, почему он смотрит на старую кладку мусульманского храма...

А он прощался с Майей. Мысленно повторяя все, что произошло у этой старой стены вчера, он целовал ее в губы, ощущая во рту соленый привкус крови. Ее крови...

Когда Алик вернулся домой, Майя уже жила в другом городе. Фариз работал по специальности на нефтяном промысле в Сураханах. Мать умерла. Племянник заканчивал школу, Надир продолжал пить. А сестра опять дружила с женой Фариза...

ДАЧА

Надо было к восьми утра приехать в Маштаги, нанять там каменщика и отвезти его на дачу в Бильгя.

«Ну почему именно я должен это делать, — думал он, натягивая на себя брюки, — и вообще, кому это нужно?!»

Ему было тридцать лет; к понедельнику он должен был закончить статью о возможностях применения некоторых методов теории устойчивости в системах экономико-административного управления; за последние годы он и гвоздя не прибил в своей холостяцкой квартире, поэтому необходимость ехать за мастером в Маштаги, а потом с ним на дачу, чтобы покрыть крышей дом матери, раздражала его своей несправедливостью.

Мать, административный работник с техническим образованием и пенсионер по инвалидности (у нее болело сердце и что-то не ладилось с ногами), решила вдруг, что ей необходим «клочок земли», который она будет сама возделывать. Никогда раньше она не испытывала тяги к земле — энергичный и деловой человек, она уверенно несла на себе груз хозяйственных забот любого учреждения, в которое ее забрасывала служба, и ни на что другое у нее никогда не было времени.

И вдруг, однажды заявив о своем решении, она взялась за его осуществление с таким упорством, будто вынашивала это решение всю жизнь. Надо отдать ей должное, она и своих сыновей сумела увлечь первое время. Они еще жили тогда все вместе в старой квартире по 4-й Параллельной, старой милой квартире с окном на покрытую потрескавшимся киром крышу соседнего дома, скрипучим деревянным балконом, пианино «Мюльбах» и большой, во всю стену длинного коридора, политической картой мира. Ему тогда было двадцать семь, а старшему брату — довольно известному врачу-урологу — тридцать.

Мать пришла домой взволнованная и решительная, села на деревянный сундук под картой мира и, не отдышавшись, прерывая рассказ острым бронхиальным кашлем, сообщила им о своем намерении строить дачу.

В течение нескольких недель, пока она выбивала в дачном тресте участок, разговор о даче — «уютном беленьком доме с верандой и виноградником вокруг» — возникал в их семье каждый день. По утрам, перед тем как разбежаться по своим делам, и вечерами, после обеда, они с удовольствием делились соображениями о доме на берегу моря. Мать рассказывала в подробностях о строительстве дома, о колодце, который придется вырыть и снабдить мотором, о цыплятах, для которых надо будет построить курятник. Они разрабатывали и уточняли проект дома и мечтали о том, как будут приезжать в жаркий летний день, съедать по цыпленку и, торопливо раздевшись, бежать к морю.

Но когда пришло лето, выяснилось вдруг, что строительство дачи — совершенно утопическая для их семьи затея. Оказалось, что они сильно преувеличили свои возможности, кроме того, что они многого не знали и не умели, никто из них, кроме матери, не мог найти достаточного времени для работы на даче, каждого отвлекали свои дела. Первым «вышел из игры» старший брат. Произошло это, когда на участок была привезена большая часть камня и цемента.

Грузовик, на котором привезли очередную партию камня-кубика, застрял в песке, метрах в трехстах от участка. После нескольких часов возни под одуряюще палящим солнцем его удалось вытащить; потом без перерыва, чтобы успеть до ночи, перетаскивали к строящемуся дому кубик. Каждый брал по два камня, больше было невозможно, и, обливаясь потом, тащил их по раскаленному, засасывающему ноги песку. Мать, страдающая одышкой и сердечной недостаточностью, тоже принимала участие в работе. Ее сил хватило на один камень, передвигалась она медленно, с частыми остановками, но никто на свете не смог бы заставить ее выпустить из рук этот камень. Временами она опускалась на песок и, откинувшись, тяжело и хрипло дышала.

Именно в этот день старший брат заявил о том, что в ближайшие несколько недель он будет очень занят своими диссертационными делами и приехать на дачу не сможет.

Ночью мать плакала — он и отец лежали в нескольких метрах от нее и слышали приглушенные одеялом всхлипывания, — но утром она молча, ни слова не говоря, подняла два камня и понесла на участок...

А на следующий день мать наняла старика каменщика из местных жителей и начала строить. Двенадцатилетний внук старика на маленьком седом ослике подвозил камень-кубик и воду, она месила раствор, каменщик занимался кладкой, а отец — философ по профессии — готовил для них пищу. Иного участия в работе отец не принимал — не позволяя ни склад ума, ни здоровье.

Прерывающееся то из-за отсутствия денег, то из-за нехватки материала, но еще более изнурительное и долгое из-за плохих подъездных путей строительство дачи подвигалось медленно. За два лета матери удалось обнести участок оградой, вырыть колодец, в котором за день накапливалось несколько ведер воды, и поднять стены...

И теперь надо было к восьми утра поехать в Маштаги, взять мастера и отвезти его крыть крышу...

Он (в честь покойного деда его называли Мансуром) натянул брюки, подошел к письменному столу и прочитал последнюю сочиненную вчера фразу статьи, которую обязательно надо было кончить к понедельнику. Фраза ему не очень понравилась. «Ну почему именно я?» — опять подумал он с тоской и посмотрел на часы. Было около семи. На бритье осталось десять минут.

Он принес из ванной ручное зеркальце, сел у окна и, прежде чем включить электробритву в сеть, в который уже раз дал себе слово завтра же купить настенное зеркало.

Побрившись, Мансур позвонил старшему брату — тот еще спал, конечно, — и попросил подождать его до двух часов.

— Я только отвезу туда мастера и — назад. Мне тоже все это осточертело... — Мансур рассказал брату о положении дел на даче и согласился, что мать с ее здоровьем не сможет жить там одна, а на отца надежда плохая, — если уж он попадет в город, то раньше, чем через неделю, на дачу его не вернешь.

— Совершенно бессмысленная трата сил и времени, — сказал брат в конце. — Столько мучений из-за этой дачи, а в результате ей нельзя будет там жить...

Мансур повесил трубку и подумал о том, что брат счастливчик, все ему сходит с рук. Даже после того, как он сбежал с дачи, мать очень быстро восстановила с ним хорошие отношения, и теперь он появляется на даче очень редко, где-то в конце дня на пять минут с каким-нибудь нелепым подарком, целует ее, сообщает, что безумно занят, и укатывает назад в город. Да, умеет себя поставить...

В Маштаги он поехал на автобусе — подвернулся попутный. На мастера он тоже наткнулся сразу.

Солнце пекло сбоку, прямо в ухо. Мастер трусил рядом, смешно подпрыгивая и то и дело вытряхивая песок из белых от пыли башмаков. Мансур останавливался и ждал, когда мастер сможет опять продолжать путь. Давно не стриженные ногти на короткой широкой ступне мастера были толстые и почти квадратные, цвета темной роговой оправы очков Мансура.

Мансур думал о своих делах. Ему надо было обязательно успеть в город к двум часам. Брат собирался с друзьями в гости к Саттар-заде, который уже давно обещал ему одну из последних своих работ. Брат живописью не интересовался, и необходимо было поехать с ним, чтобы там, на месте, напомнить ему об обещании Саттар-заде. Сам он никогда не вспомнит, а второй такой возможности получить работу этого художника не будет.

Мать окапывала виноградник, когда они подошли.

— А, приехали, — сказала она не очень приветливо, критически осматривая мастера, видно, опять была не в настроении.

Отец лежал под дощатым навесом, читал книгу. У него была способность читать по многу раз одну и ту же книгу, если не было под рукой других. Этот невысокий худощавый человек, во всем беспрекословно подчинявшийся матери и забывший уже о тех временах, когда он хотя бы по самому пустяковому вопросу имел собственное мнение, в одном был нестигаем — его невозможно было заставить здесь работать. Единственно, что он делал, — это готовил обед и мыл посуду.

Мансур, устало охнув, опустился на одну из двух железных кроватей, стоявших под навесом; здесь, в тени навеса, он вдруг почувствовал, как утомил его переход под солнцем из Маштагов в Бильгя.

Мастер и мать уже влезли на крышу.

— Сперва положишь эти доски, — сердито объяснила мать, такая у нее была манера разговаривать с мастерами, — потом сверху толь, закрепишь его гвоздями, а потом уже покроешь цементом. Понял?

— Почему не понял, сестра? Что тут сложного, я не такие крыши делал.

— Не знаю, какие ты крыши делал раньше, но эту надо сделать хорошо.

— Сперва камень мелкий насыплю, потом уже раствор.

— Правильно, — согласилась мать, — но смотри не вздумай песок насыпать вместо камней. Я сама все проверю.

— Зачем песок? — удивился мастер.

— Знаю я вас, — сказала мать и начала слезать с крыши.

Ни один мастер не выдерживал ее больше дня. Недели три назад Мансур, приехав к вечеру, увидел, как здоровенный геокчаец¹, которого он сам привез из Маштагов, стоял за домом и, подняв руки к небу, просил: «Ай аллах, избавь меня от этой женщины!»

— Ну, ладно, — сказал Мансур. — Я, пожалуй, поеду.

— Куда? — удивился отец; сквозь щель навеса на его лысый череп падал тонкий солнечный луч и отражался, как от хорошо полированной кости.

Они оба посмотрели в сторону дома. Мать подавала лезгину доски, а он, свесившись с крыши, подтягивал их наверх и складывал рядом с собой.

«Самая пора смыться», — подумал Мансур.

— Усейн-бала идет, — сообщил отец; при своей близорукости он был зорким человеком. — Скандал будет.

— Почему?

— Молоток пропал.

Усейн-бала был сторожем всех окрестных дач.

— Салам-aleyкум! — крикнул он, дойдя до проволочной ограды.

Мать не ответила ему. Отец сделал вид, что не расслышал приветствия, и уткнулся опять в книгу.

— Алейкум-салам! — крикнул в ответ Мансур. Усейн-бала постоял у ограды и, не дождавшись приглашения, перелез через ограду. Дойдя до дома, он еще раз поздоровался. И отец вынужден был ответить ему. Мать молча продолжала подавать доски, она даже не взглянула на него.

— Садись. — Мансур подвинул ноги, чтобы Усейн-бала мог присесть на край кровати.

¹ Житель Геокчая, города в Азербайджане.

Отец, понимая, что вот-вот должен разразиться скандал, не отрывался от книги.

— Интересный сон я видел, — сказал ничего не подозревающий Усейн-бала, — сплю я ночью дома один, и вдруг кто-то меня будит. Просыпаюсь, смотрю: Азраил¹. Трясет меня за плечо. «Вставай, говорит, хватит дрыхнуть, Усейн-бала, идем со мной, засиделся ты на этом свете». У меня душа в пятки ушла. Ну, думаю, все — пришел твой конец, Усейн-бала. Руки, ноги у меня отнялись, лежу, как труп. И вдруг, сам не знаю откуда у меня сила взялась, как закричу: «Да здравствует Советская Армия!» Прямо Азраилу в лицо. Он как вскочит и — к двери, как пуля, вылетел, так торопился, что головой в притолоку ударился, сильный такой стук получился — дап!!! И я проснулся...

— ...И после этого он спокойно является сюда, рассаживается как ни в чем не бывало и всякие глупости болтает, — сказала мать отцу.

— Мама! — укоризненно сказал Мансур. — Хватит.

Но мать начала уже решительное наступление, перейдя на азербайджанский, она обвинила Усейн-балу в краже молотка и досок.

— А, ну, поднимайся! — вдруг закричала мать. — Чтобы ноги твоей здесь не было, пока молоток и доски не вернешь!

— Напрасно ты меня обижаешь, Дилера-ханум, — сказал Усейн-бала, — я не брал твой молоток, пусть дети мои без куска хлеба останутся, если я знаю, кто его взял.

Это было похоже на правду. Даже мать поколебалась в справедливости своего обвинения, но дело было уже сделано, и пока Усейн-бала, огорченный, покидал территорию дачи, она, как бы убеждая себя, приводила очень сомнительные доводы, подтверждающие нечестность сторожа...

История с Усейн-балой окончательно укрепила в Мансуре намерение уехать. Мать стала совершенно невозможной. Год дружила с этим человеком, распивала с ним чай, делилась своими горестями, устраивала на работу его детей и теперь из-за одного несчастного молотка перечеркнула все.

— Мама, ты же надорвешься! — вдруг крикнул Мансур, подбегая к матери.

Он почти оттолкнул ее и рывком, от которого кольнуло в пояснице, подал массивную доску мастеру.

— Я бы сама прекрасно справилась, — упрямо сказала мать и ухватила за другую доску.

— Ты что, специально изводишь меня? — спросил Мансур.

— Почему? — удивилась мать. — Что я делаю тебе?

Она смотрела на него своими упрямыми карими глазами, из глубины

¹ Ангел смерти

ны которых струилась ничем не обоснованная, какая-то патологическая убежденность в правильности и безнаказанности всего, что она делает.

Только огромное усилие над собой помогло Мансуру не выругаться, он ненавидел мать сейчас...

Неторопливый человек от природы, Усейн-бала после возведенной на него напраслины совсем отяжелел и не успел уйти далеко. Увидев догоняющего его Мансура, он отбежал на несколько шагов от дороги.

— Клянусь моей жизнью, я не брал молоток, — поклялся он, боязливо выставив вперед руки.

Мансур успокоил его, как мог, и попросил прощения за мать.

Он твердо решил сейчас же, немедленно уехать в город и больше не приезжать сюда. Он еще раз перебрал в уме все свои доводы: строительство дачи определенно свело мать с ума, иначе этот фанатизм, эту одержимость, с которой она занимается непосильной для себя работой, объяснить нельзя. Ведь она прекрасно знает, что никто — ни муж, ни сыновья — жить здесь с ней не будут, а с ее здоровьем одной ей здесь оставаться опасно, об этом ей твердят и врачи и все вокруг. И, несмотря на это, она строит, строит и строит. Надрывается, влезла в долги, но продолжает упорно, демонстративно даже строить этот проклятый дом, который в конце концов ее загубит.

И поэтому надо набраться твердости и поступить так же, как брат, — не участвовать в этой губельной для нее затее. Хотя бы не участвовать!..

Отец продолжал читать. Мать сидела на песке и пыталась молотком раздробить на куски большой серый камень. Она была вся в пыли, на лице смоченная потом пыль превратилась в темно-серую жижицу с разводами.

Мансур вошел в дом. Мастер уже успел покрыть крышу досками. Кое-где он даже застелил толь, — в этих местах не было щелей. Мансур нашел среди вещей, сваленных в углу, у газовой плиты, свои старые брюки и завернул их в газету. В комнату заглянул отец.

— Ты что? — спросил он.

— Уезжаю.

— Не поможешь ей?

— Нет.

Отец грустно улыбнулся. Мансур перевязал веревкой сверток с брюками.

— Ты есть не хочешь? — спросил отец.

— Нет. Не знаешь, где мои тапочки?

— На веранде.

Отец пошел за тапочками. Мансур приблизился к окну — мать продолжала ожесточенно бить по камню.

— Он что, уезжает? — спросила она отца.

— У него срочное дело в городе, — объяснил отец.

Она ничего не сказала, только сильнее ударила по камню. Потом еще раз так же сильно. Камень наполовину погрузился в песок. Она не догадывалась подложить под него другой камень. А может быть, ее не интересовало, раскрошится он или нет. Может, ей просто нравилось бить по камню. Или не нравилось, но была такая потребность. Она тяжело дышала и после каждых нескольких ударов откидывала назад свое грузное, выпирающее из прорех черной рубашки тело, чтобы захватить побольше воздуха широко разинутым ртом. Три года назад Мансур впервые увидел, как она, лежа на боку, ползком волочит по песку тяжелый камень. Он очень испугался тогда: «Что с тобой, мама? Почему ты лежишь на земле?» — «Так удобней, — объяснила она, жалко улыбаясь, — ноги не болят». Впервые в жизни она призналась ему в своей слабости. Он чуть не заплакал тогда. Сейчас жалость была не такой острой. Но все же больно было смотреть на то, как она бьет по камню, чтобы скрыть свое бессилие и обиду на детей.

— Мама, — сказал Мансур в окно, — ты неправильно делаешь. Надо подложить камень.

Он понимал, что не должен этого говорить, если хочет получить картину Саттар-заде.

— Я пробовала, — не сразу ответила мать, видимо, колебалась, ответить или нет, — он соскакивает.

Мансур вышел из дома и подошел к ней. Она перестала бить по камню и настороженно молчала, не выпуская из рук молотка. Ждала, что он скажет. «Ты можешь поступить как хочешь, — говорил весь ее вид. — Я от своих детей всего жду». Мансур тоже молчал. Он опять подумал, что если хочет уехать, то должен сейчас же, сию минуту сказать об этом, потом будет поздно.

— А что делает этот, наверху? — спросил он, не глядя на нее.

— Не знаю даже, — опять не сразу, устало ответила она, — сейчас залезу посмотрю.

— Я снизу посмотрел. Доски он неплохо уложил.

— Самое главное, чтобы он вместо мелкого камня песок не насыпал.

— Ну что ты? Он не похож на такого человека...

Потом Мансур дробил на куски камни — выяснилось, что их потребуется не меньше пятидесяти ведер, потом таскал песок для цементного раствора, а потом, уже поздно вечером, подавал раствор на крышу. Набросав в ведро несколько лопат раствора, он поднимался по деревянной лестнице, приставленной к стене, и передавал мастеру, который опрокидывал раствор на ровный слой мелкого камня. Стоило Мансуру остановиться, как мать хватала ведро или лопату, чтобы не было перебоя в работе.

Солнце уже было высоко, и могучие лучи его падали отвесно и тяжело. Мастер спасался от них, обмотав голову рубашкой.

— Апшеронское солнце очень опасное,— рассказывал он Мансуру, орудуя лопатой.— Может человека сумасшедшим сделать. Один шофер рассказывал мне. Местный он, из Герадила. С карьера песок возил на самосвале. В день двадцать — тридцать рейсов делал под солнцем. Иногда по дороге домой заезжал. С матерью он тогда жил, холостой был... Однажды приехал домой — матери нет, замок висит. Поставил машину на улице, а сам сел в тени у забора. Жара, солнце печет, вокруг тихо, белый песок, никого нет. Только соседский ишак стоит напротив, к воротам привязанный, и смотрит на него. А он сидел, сидел и вдруг встал, положил ишака в кузов машины и поехал. Совсем голову потерял, не понимает, что делает. Сосед за машиной бежит, а он на газ жмет... Прямо с этим ишаком на базар в Маштаги. Продал за восемьсот рублей старыми. До сих пор сам понять не может, почему так сделал... Солнце ему ударило в голову...

К вечеру, когда солнце уже больше, чем наполовину опустилось в море, у одного из ведер оторвалась ручка. Мансур в это время работал на крыше, и, пока мастер прилаживал ручку, у него появилась возможность немного отдохнуть. Он лег лицом вниз на самом краю крыши, на новый каменный бордюр, с внешней стороны которого торчали неровные края толя. Лицо горело от усталости, и он прижал его к шершавой поверхности камня, успевшего уже остыть. Вернее, обессиленная шея не держала головы, а лицо было как бы придавлено к камню собственной тяжестью.

Внизу возился с ведром мастер. Рядом на песке сидела мать, наблюдала за работой. Сейчас сверху она была очень похожа на покойную бабушку. У мастера что-то не ладилось с ручкой, он чинил ее довольно долго. Постепенно с Мансура сходило оцепенение усталости; глядя на мать, он вспомнил вдруг, как много лет назад они жили с бабушкой в Пиршагах в таком же доме без крыши. Была война. Мать по ночам пешком шла из города, приносила им еду. Иногда ей не удавалось добраться до них. Тогда бабушка счищала с хлебного ножа прилипший к лезвию мякиш, и они, два брата, делили его поровну...

Бабушка умерла сравнительно недавно, но почему-то запомнилась именно такой, какой была тем военным летом в Пиршагах. Мать сейчас стала очень похожа на нее. А в те годы мать была красивой. А может, так ему казалось тогда.

Она любила читать им. Сейчас Мансур уже знал, что она не очень начитанный человек. Но тогда они этого не понимали. У нее было несколько любимых книг: «Маленький оборвыш», «Роб-Рой», «Оливер Твист» и «Маленькая хозяйка большого дома»... Они сидели на длинном открытом балконе перед их городской квартирой на втором этаже, откуда спускалась во двор лестница. Она не разрешала ему сидеть на каменной ступеньке, и он старательно умещался на маленьком деревянном пятачке балкона, примыкавшего к лестнице, и часами слушал историю бедного Оливера Твиста...

Очевидно, он задремал ненадолго, потому что, открыв глаза, он увидел рядом с собой мать. Она тоже сидела на краю крыши.

— Что с тобой? — спросила мать. — У тебя что-нибудь болит?

— Нет, — сказал он, — просто уснул.

Она помолчала немного и не очень уверенно, не глядя на него, спросила:

— А голова не болит?

— Немного.

Она стеснялась, наверное, потому не сразу, а после некоторой заминки, как бы решившись, вдруг подняла его голову с камня и положила к себе на колени.

— Хочешь, я тебе помассирую виски? — опять не сразу и все так же, не глядя на него, спросила она.

— Помассируй, — сказал Мансур.

Она начала осторожно поглаживать ему виски и лоб. Кожа на концах ее пальцев была грубой. Мансур лежал, зажмурив глаза. Дыхание матери было хрипкое, и в такт ему поднимался и опадал ее большой рыхлый живот, прислоненный к макушке Мансура. Очень она постарела за последние годы, и как-то сразу и незаметно, подумал он.

— Мама, помнишь, как ты читала мне «Оливера Твиста»? — спросил Мансур, не открывая глаз.

— Помню.

Она продолжала осторожно поглаживать Мансуру виски и лоб, а он лежал с закрытыми глазами и думал. Конечно, хорошо иметь твердый характер, как некоторые имеют, думал он, но каждому, как говорится, свое, и, пожалуй, совсем не обязательно, чтобы все, что делает человек, было разумно и имело правильную, с его точки зрения, цель; бывают же ситуации, когда делаешь что-то, что давно уже потеряло для тебя смысл, но продолжаешь делать, потому что люди, которых ты любишь, верят в это дело и не понимают того, что уже понял ты; они ошибаются, с твоей точки зрения, и старания их беспредельны, но нельзя же бросить их, если ты их любишь. А как их не любить.

Прекрасные все же мысли посещают человека, когда он лежит на крыше собственной дачи, положив голову на колени своей матери, а варное апшеронское солнце уже опустилось далеко за море...

ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ

Пока шло дневное представление, служитель цирка Али-ага, высокий, костлявый, одетый в потрепанный пиджак, майку и брюки, мужчина лет сорока пяти соскабливал грязь и ржавчину с клетки уссурийского тигра. Очистив один прут, он протирал его смоченной в керосине тряп-

кой и переходил к следующему. Время от времени скребок противно скрежетал, и на Али-агу шикали готовящиеся к выходу отец и сын жонглеры-эксцентрики. После этого Али-ага начинал работать медленней, но потом, подгоняемый желанием закончить дело, пока звери на арене, забывался и получал новое замечание.

Ему удалось закончить клетку за несколько минут до окончания первого отделения, и, торопливо осмотрев четыре других, стоявших в помещении, он побежал за мясом. Когда он прикатил большую, тяжело нагруженную тележку, звери уже были в клетках: в первых двух сидели львы, в трех других — по уссурийскому тигру. Время обеда уже наступило, звери беспокойно рычали и кружили на месте.

Дрессировщик, русский парень, был недоволен тем, что Али-ага занимается никому не нужным делом и опять из-за этого запоздал с мясом, но ничего не сказал, так как утомительный разговор жестами с Али-агой, делавшим вид, что не знает русского языка, уже надоел ему. Он только показал на львов, потом на свой живот, потом широко развел руками (это все означало, что львов сегодня надо покормить особенно хорошо) и ушел.

Али-ага перетасил к клеткам сложенные в углу тазики и разложил по ним привезенное мясо. Но прежде чем протолкнуть тазики к зверям, он оглянулся по сторонам, убедился в том, что за ним никто не следит, вытащил из-под коляски свой фартук и торопливо сбросил в него по несколько кусков мяса из каждого тазика. У львов он украл по одному куску.

Еще раз проверив, нет ли кого-нибудь поблизости, он вскинул набитый мясом фартук на плечо и скорым шагом, но без той суетливой поспешности, которая присуща неопытным ворам, вышел во двор. Здесь были люди, но Али-ага спокойно приподнял крышку колодца пожарного крана, опустил в него фартук и так же скоро вернулся к клеткам.

Накормив зверей, он вышел из помещения, проверил, на месте ли мясо, и пошел к стене, отделявшей двор цирка от двора педагогического института. У решетчатых воротец, как всегда, стояли, а вдоль стены сидели на скамейках и грелись под солнцем студенты. Али-ага шел в столовую и поэтому прошел было мимо них, не останавливаясь, но, заметив одного из молодых обучающихся в институте земляков, остановился.

— Салам-алейкум, — поздоровались они, и Али-ага, досадуя на то, что не может сразу перейти к делу, долго расспрашивал земляка о делах, здоровье, здоровье и делах его родителей, оставшихся в селении, отвечал на расспросы о себе и о том, что ему пишут из дома. Наконец, когда на эти разговоры было потрачено необходимое количество времени и земляк уже не мог обвинить его в невежливости, Али-ага позволил себе спросить у него, где он питается, в столовой или сам готовит себе, и тут же прибавил, что может достать ему мяса.

— Хорошее мясо,— сказал Али-ага.— Конечно, не совсем то, что хотелось бы, но вполне удовлетворительное мясо. И очень недорогое, по рублю за килограмм одного сорта (здесь Али-ага имел в виду мясо для львов), и по шестьдесят — другого.

— Почему такое дешевое? — спросил земляк.

— Можно и дороже,— несколько раздраженно сказал Али-ага. Он уже начал жалеть, что связался с жителем селения, из которого десять лет назад уехал именно для того, чтобы быть подальше от этих людей. Но все обернулось неожиданно удачно.

— А сколько его там? — спросил юный земляк.

— Кило десять — двенадцать.

— Если по восемьдесят и пятьдесят можно устроить, то все возьму,— сказал земляк.

— Хорошо, жди меня здесь,— согласился Али-ага.

— Только не здесь,— возразил земляк.— Неудобно, могут увидеть. Лучше на улице.

— Хорошо,— сказал Али-ага.

Как уговорились, он вынес мясо на улицу, получил деньги — восемь рублей, передал привет родителям земляка и вернулся в цирк.

Здесь все было в порядке. Никто ничего не заметил. Теперь надо было отпроситься. На те два месяца, что в цирке шел аттракцион с хищниками, Али-ага был передан в распоряжение русского дрессировщика и отпрашиваться предстояло у него.

Али-ага нашел его в бильярдной, и руками и ногами объяснил, что хочет ненадолго отлучиться. Получив разрешение на полчаса, он торопливо умылся и побежал из цирка. Ближайший магазин оказался гораздо дальше, чем можно было предположить, но Али-ага бегал быстро и уложился в отпущенное ему время. Денег хватило в обрез, но зато краска была качественная, импортная.

Вечером, когда началось представление и клетки опустели, Али-ага приступил к делу. Он макал в тягучую густоту краски кисть, осторожно нес ее от банки к очередному пруту и нежно водил по нему кистью, вверх — вниз... Рот его приоткрылся от удовольствия, заросший щетиной подбородок плавно двигался в такт движению руки...

К концу первого отделения Али-ага успел покрасить две клетки.

СОДЕРЖАНИЕ

Проснувшись с улыбкой	3
Дача	36
Любовь к животным	44

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ

ДАЧА

Рассказы

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 12.09.88. Подписано к печати 04.11.88. А 10417. Формат 70 x 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд» Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,21.
Тираж 150000 экз. Зак. № 3071. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Сберегательный банк СССР предлагает вкладчикам новую форму расчетов за промышленные товары и услуги — чековую книжку.

● Она действительна на всей территории РСФСР.

● Чековая книжка может быть выписана на ваше имя в учреждении Сберегательного банка, где вы открыли счет по вкладу до востребования, на любую сумму в пределах остатка по вкладу. При этом сохраняется порядок совершения операций по вкладам и доход по ним.

● Чековая книжка содержит 12 чеков.

● Чеками чековой книжки вы можете рассчитаться за промышленные товары в магазинах государственной и кооперативной торговли, а также за все услуги, предоставляемые различными предприятиями и организациями.

● Чек на оплату товара или услуги выписывается на любую сумму — в рублях и копейках — в пределах остатка по чековой книжке.

● В учреждениях Сберегательного банка по чековой книжке вы можете получить наличные деньги или поручить получение денег по чеку другому лицу по доверенности.

● Более подробно с правилами пользования чековой книжкой вас ознакомят в любом учреждении Сберегательного банка.

**Российский республиканский банк
Сберегательного банка СССР**